

СКАНДИНАВСКАЯ  
КОЛЛЕКЦИЯ

Шведская жемчужина от лауреата  
Нобелевской премии по литературе!

Перевод Сергея Штерна

**СЕЛЬМА ЛАГЕРЛЁФ**



**ПРОКЛЯТИЕ РОДА  
ЛЁВЕНШЁЛЬДОВ**

РИПОЛ **КЛАССИК**

Скандинавская коллекция

Сельма Лагерлёф

**Проклятие рода Лёвеншёльдов**

«РИПОЛ Классик»

1925-1928

УДК 821.113.6  
ББК 84(4Шве)6-44

## Лагерлёф С.

Проклятие рода Лёвеншёльд / С. Лагерлёф — «РИПОЛ  
Классик», 1925-1928 — (Скандинавская коллекция)

ISBN 978-5-386-14030-4

Печальный и изысканный роман-трилогия Сельмы Лагерлёф «Проклятие рода Лёвеншёльд». Анекдотическая история о привидении каролинского генерала, всеми силами пытавшемся вернуть украденный из могилы перстень, постепенно превращается в завораживающий полифонический рассказ о любви и ненависти, душевном величии и мелкой злобе, о мести и жертвенности, о вере догматической и истинной. Особенно удались Сельме Лагерлёф женские образы: непреклонная Марит, мстящая за страшную гибель любимых людей, коварная Тея, обаятельная, образованная и умная полковница Экенстедт, чья слепая любовь к сыну испортила жизнь и ему, и ей. И, конечно, трогательные и удивительные Шарлотта Лёвеншёльд и Анна Сверд, чьими именами названы вторая и третья части трилогии.

УДК 821.113.6  
ББК 84(4Шве)6-44

ISBN 978-5-386-14030-4

© Лагерлёф С., 1925-1928  
© РИПОЛ Классик, 1925-1928

## Содержание

Книга первая	6
Книга вторая	54
Полковница	54
Предложение руки и сердца	67
Желания	72
Пасторский сад	78
Разносчица из Даларны	83
Утренний кофе	88
Конец ознакомительного фрагмента.	90

# **Сельма Лагерлёф**

## **Проклятие рода Лёвеншёльдов**

© Штерн С. В., перевод на русский язык, 2019

© Storyside, 2019

© Издание на русском языке, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик»,

2021

## Книга первая ПЕРСТЕНЬ ГЕНЕРАЛА

### I

Знаю, знаю, слышала много раз – были когда-то, да и сейчас есть бес страшные люди. Хлебом не корми, дай пробежаться по неокрепшему осеннему льду. Или оседлать необъезженного скакуна. Находились даже – в это трудно поверить, но представьте только – находились фаталисты и решались сесть за ломберный столик с прапорщиком Алегордом, хотя и дети знали: Алегорд шулер, выиграть у него невозможно. Слышала про храбрецов, которые отправлялись в дорогу в пятницу. Или же садились за стол на тринадцать кувертов – и в ус не дули. Но не думаю, чтобы отыскался смельчак, который решился бы надеть на палец этот ледящий душу перстень. Перстень, принадлежавший когда-то старому генералу Лёвеншёльду из поместья Хедебю.

Тому генералу, благодаря которому Лёвеншёльды и получили свое поместье и дворянский титул. Тому самому, чей портрет до сих пор висит в гостиной в проеме между окнами. Огромный портрет маслом, от потолка до пола. Издалека может показаться, что изображен на нем сам Карл Двенадцатый – в голубом мундире, лайковых перчатках и высоченных ботфортах. Надо подойти поближе, чтобы понять: на клетчатом шахматном полу стоит не воинственный король, а совершенно другой человек.

Высокий, крепко сложенный. Грубой лепки лицо. Лицо человека, рожденного всю жизнь ходить за плугом. Из тех лиц, про которые писал Гоголь: природа недолго мудрила над отделкою. Хватила топором – вышел нос,хватила еще раз – вышли губы. Мужлан мужланом. Но вот что странно – уж никак не аристократ, а выглядит умным и значительным. И, главное, внушает доверие. Родись он в наше время, наверняка стал бы председателем совета коммуны или на худой конец членом какой-нибудь важной комиссии. А глядишь, и депутатом риксдага. У депутатов тоже бывают такие лица.

Но это в наше время. А жил-то генерал не в наше время. Он жил в эпоху героического короля. Пошел воевать бедным солдатом, а вернулся прославленным генералом Лёвеншёльдом. Мало того, в награду за военные заслуги получил от короля поместье Хедебю в уезде Бру.

И вот что удивительно – чем дольше смотришь на портрет, тем меньше обращаешь внимание на внешность. Да, такими они и были – отважные воины Карла XII, протоптавшие для него дорогу через Польшу и Россию. Вовсе не искатели приключений и придворные кавалеры, а неотесанные простолудины, вот такие, как этот, на портрете. Они и признали его своим королем. Королем, ради которого стоит жить и умереть.

Присмотритесь, присмотритесь внимательно к этому парадному портрету. Оказывается, перчатка только на правой руке, а на указательном пальце левой красуется большой золотой перстень. Если рядом случится кто-то из Лёвеншёльдов, обязательно поспешит пояснить – нет-нет, вовсе не из фанфаронства генерал снял перчатку. Перстень подарен ему самим Карлом XII, и старый воин повелел художнику изобразить этот перстень на портрете, чтобы еще раз доказать верность своему единственному королю.

Других королей он не признавал.

Конечно же ему не раз приходилось слышать, как поносили его кумира. Многие даже решались обвинять короля Карла в невежестве и чуть ли не слабоумии – кем же надо быть, чтобы так разорить королевство, привести его на грань уничтожения! Но генерал стоял на своем. Он привязанностей не менял. Мир не видел такого короля, как Карл, и те, кто знал его

близко, научились понимать, что есть на свете вещи важнее и прекраснее, чем богатство. Вы говорите – авантюрист, напал на сильные державы, вот и напоролся. А разве приносит славу победа над заведомо обреченным противником?

Итак, генерал повелел художнику изобразить перстень на портрете. И точно так же, не допуская даже возможности возражений, приказал, чтобы похоронили его с этим перстнем на пальце.

Боже, что за тщеславие! Старый воин хочет похвалиться своим перстнем перед Господом Богом и архангелами... нет-нет, вы заблуждаетесь, ничего похожего. Конечно же нет, ни о чем подобном он и не думал. А причина вот такая: генерал лелеял тайную надежду, что после смерти попадет в некую Вальхаллу, в огромную пещеру, где пирует покойный король Карл XII со своими рубаками. И они тут же опознают его по кольцу – кто бы сомневался! И вновь, вновь, теперь уже после смерти, окажется генерал рядом со своим обожаемым королем.

При жизни он никогда перстень не снимал. А когда гроб с телом генерала опустили в каменный склеп, загодя построенный по его распоряжению на погосте в Бру, перстень, само собой, красовался на его указательном пальце. Многие покачивали головами – надо же, такое сокровище будет лежать в могиле! Перстень генерала был почти так же известен, как и его хозяин. Поговаривали, в нем так много золота, что хватило бы на покупку целой усадьбы, а камень, очень крупный сардоникс с искусно выгравированной королевской монограммой, стоил никак не меньше. Но сыновья даже не думали распорядиться перстнем по-иному, и никто их не осуждал. Наоборот, все посчитали их поступок в высшей степени благородным. Как же иначе: выполнили последнюю волю отца и позволили ему унести свое сокровище в могилу.

Мы всматриваемся сейчас в этот перстень и с трудом понимаем, чем он так уж хорош. Красивым его не назовешь – работа аляповатая, в наше время никто бы на него и не посмотрел. Но двести лет назад... Не стоит забывать: королевство было на грани банкротства, все украшения и изделия из драгоценных металлов изымались в пользу Короны. В ходу были так называемые далеры Гёрцена – медные легкие монетки с номиналом, совершенно не соответствующим их истинной ценности. Так что большинство населения не только не имело золотых украшений, но и золота-то никогда не видело.

Конечно, похороненная в склепе редкостная драгоценность долго служила предметом разговоров. Сколько пользы она могла бы принести! Что ни говорите, понять людей можно – продать бы это кольцо в какую-нибудь соседнюю страну и накормить народ... полстраны жило в то время впроголодь, на хлебе из соломы и древесной коры.

Многие фантазировали – вот бы заполучить такое сокровище. Но никто даже не помышлял его украсть. Перстень лежал в гробу, в замурованном склепе, закрытом тяжелыми каменными плитами, даже самому ловкому вору не под силу проникнуть в последнее убежище генерала. Так бы и лежать перстню в могиле до Страшного суда. Но судьба решила по-иному.

## II

Итак, в марте 1741 года уснул вечным сном генерал-майор Бенгт Лёвеншёльд, а через несколько месяцев умерла от дизентерии маленькая дочь капитана кавалерии, ротмистра Йорана Лёвеншёльда, старшего сына генерала, унаследовавшего Хедебю. Похороны назначили в воскресенье, сразу после службы. Все, кто присутствовал в церкви, пошли и на кладбище. Работники отвалили две огромные надгробные плиты, каменщик разобрал кладку над склепом – решили положить маленький гробик внучки рядом с огромным гробом знаменитого деда.

Прочитали заупокойную молитву. Потом говорились надгробные речи. Трудно, конечно, сказать точно, но почти наверняка: многие в толпе вспоминали королевский перстень и сожалели: вот, дескать, лежит такая дорогая штукавина в могиле и никому от нее ни радости, ни

прибыли. Может, кто-то и шепнул соседу – смотри-ка, они оставляют склеп открытым, только завтра замуруют. Так что если кому взбредет добраться до перстенька...

Среди тех, кому приходили в голову подобные мысли, был и крестьянин из Ольсбю по имени Борд Бордссон. Мысли-то ему приходили, но он был вовсе не из тех, кто стал бы горевать до самой смерти об упущенной возможности. И даже наоборот: если речь заходила о кольце – дескать, неплохо было бы такой перстенок пустить в хозяйство, – Бордссон твердо заявлял: мой хутор Меллонстуга и так хорош. Уж кому-кому, а не ему завидовать покойному генералу из-за какой-то золотой безделушки. Вздумалось генералу взять ее с собой в могилу – вот и взял. Его право.

Но, конечно, и Борду Бордссону, и многим другим было не по себе. Открытая могила, мало ли что... «Ротмистр собирается замуровать могилу завтра после обеда... – соображал хуторянин. – А вдруг кому-то все же захочется добраться до этого проклятого кольца?»

А ему-то что за дело? У него-то почему голова должна болеть? Но мысль не оставляла. Опасная это затея – оставлять открытую могилу. Уже август, ночи темные. Для опытного вора залезть в склеп пустячное дело – и прощай, перстенок! Только тебя и видели. Даже и опыт не нужен. Захотел и залез.

Борд Бордссон забеспокоился всерьез. Решил было подойти к ротмистру и поделиться своими опасениями, но раздумал – люди и так считают его придурковатым, еще на смех поднимут. «И сомневаться нечего, – думал Борд Бордссон, – опасность есть. Есть опасность, есть. Разрази меня Бог, если я не прав... но лучше помалкивать – засмеют. Да неужто я один такой умный? Ротмистр – мужчина умный, уж точно не глупее меня. Наверняка распорядился, чтобы склеп замуровали до ночи».

Он даже не заметил, как закончилась церемония. Стоял у могилы и размышлял, пока жена не дернула его за рукав.

– Что это на тебя нашло? – спросила она. – Уставился, как кот на мышиную нору.

Борд вздрогнул и огляделся. На погосте уже никого не было, только они с женой.

– Так, ничего... Интересно...

Он очень хотел рассказать жене о своих опасениях, но раздумал. Жена умнее его. Ясное дело, спросит – тебе-то что за забота, закрыли склеп или нет? Пусть голова болит у ротмистра Лёвеншёльда.

«Да и вправду... мне-то что за забота?» – подумал Борд Бордссон и повернулся спиной к открытой могиле.

И они пошли домой.

Борд Бордссон почему-то не сомневался: как только отвернется от этого проклятого склепа, сразу же и думать о нем забудет.

Ан нет. Жена говорила без умолку: и гробик красивый, и надгробные речи – заслушаешься, и девочку жалела – надо же, как рано Господь прибрал бедное дитя. А муж только вставлял иногда словцо, иногда к месту, иногда не очень. Главное, чтобы жена не заметила, что он вовсе и не слушает, кто там и о чем говорил на отпевании. Нет, он, конечно, слышал ее голос, но приглушенно, как из-под пухового одеяла. «Нынче воскресенье, – думал он. – Может, каменщик и не захочет работать в выходной. Тогда ротмистр наверняка догадается дать могильщику далер, чтобы тот посторожил могилу. А если не догадается?»

И он даже не заметил, как начал рассуждать вслух.

– Надо было самому подойти к ротмистру Лёвеншёльду. Подумаешь, засмеют. Не засмеют! Дело нешуточное...

Борд Бордссон совершенно забыл, что рядом с ним идет его жена. Очнулся, когда она внезапно остановилась и уставилась на мужа.

– Все в порядке, – успокоил он ее. – Я все о том же... не выходит, понимаешь, из головы...

Жена не стала допытываться, что именно не выходит из головы супруга, и они двинулись дальше.

Борд Бордссон надеялся, что уж дома-то тревога рассеется. Так бы и случилось, если бы он взялся за работу, но какая работа в воскресенье? Работники поужинали и разошлись по своим делам. Он остался в гостиной один.

Назойливая мысль по-прежнему не давала покоя.

Даже сходил в стойло и почистил коня – надумал съездить в Хедебю и поговорить с ротмистром. Иначе кольцу не уцелеть – так он решил. Решить-то решил, а не поехал. Застеснялся. Вместо этого пошел к соседу, но у того были гости. И опять Борд Бордссон испугался насмешек, помялся, выпил предложенный стаканчик, промямлил что-то и вернулся домой.

Зашло солнце, и Борд Бордссон лег спать. Просплю до самого восхода и думать забуду о всяких глупостях – так он, наверное, решил. Но сна не было ни в одном глазу. Ему становилось все тревожнее. Он вертелся в постели так, что и жене не давал уснуть. Она потерпела немного, приподнялась на локте и спросила напрямую:

– Что ты вертишься, как уж на сковородке? Что тебе спать не дает?

– Да так, ничего... – как обычно ответил он. – Только вот не дает мне покоя одна штукавина...

– Ты это уже раз пять сегодня сказал. И что же это, интересно знать, за штукавина? То покоя не дает, то из головы не выходит. Со мной-то уж можешь поделиться. Глядишь, выговоришься и уснешь.

А и правда, подумал Борд Бордссон. Выговорюсь и усну.

– Да вот интересно... замуровали ли генеральский склеп? Или так он и будет стоять открытым всю ночь?

– Вот оно что! – засмеялась жена. – Так не ты один такой умный. Наверное, все, кто был на кладбище, об этом подумали. И что ж ты, спать теперь не будешь?

И ему сразу стало легче. Надо же – не он один!

Теперь наверняка усну.

Но где там! Устроился поудобнее, закрыл глаза – и тревога вернулась с новой силой. Ему чудились крадущиеся смутные тени чуть не у каждого хутора, и все они двигались туда, на кладбище, к оставленному открытым склепу.

Он попробовал не шевелиться – пусть хоть жена поспит. Но не улежал – в голове гудело, вспотел, все тело чесалось.

Жена потеряла терпение.

– А не пойти ли тебе, муженек, на кладбище, проверить, что там с могилой? – вроде бы пошутила, но получилось ехидно. – Все лучше, чем дергаться, как белка в силках.

Не успела она произнести эти слова, как он уже вскочил с постели и начал одеваться. Ехидничает жена или нет, шутит – не шутит, но она права. Права! От Ольсбю до погоста – полчаса ходьбы, никак не больше. Через час будет дома, а потом можно спать до утра. Наверняка ротмистр велел принять меры. По крайней мере, плиты опустить.

Едва за ним закрылась дверь, жена быстро оделась и бросилась вдогонку.

– Боишься, что украду у генерала перстень? – засмеялся Борд.

– Господь с тобой! Уж у кого у кого, а у тебя и в мыслях такого быть не может. Но страшно же одному на кладбище. ПопадетсЯ, упаси Господи, какой-нибудь гросон или хельхест<sup>1</sup>.

Уже почти совсем стемнело, только над горизонтом еще тлела узкая багровая полоса. Но и темень не остановила отважных супругов – они знали эти места как свои пять пальцев. Каждый поворот дороги, каждую колдобину. Шли, болтали и смеялись. И в самом деле – что

---

<sup>1</sup> Гросон – в народном поверье призрак свиньи, бродящий среди могил; хельхест – призрак безголового коня на трех ногах; встреча с ними предвещает смерть. – *Здесь и далее примеч. переводчика.*

здесь такого? Дойдут до кладбища, посмотрят, заложили ли склеп, и пойдут домой спать. А то Борд так и будет всю ночь вертеться.

– Неужели они там, в Хедебю, такие ветрогоны, что оставили могилу открытой?

– Скоро узнаем, – кивнула жена. – Смотри-ка, что там темнеет? Уж не кладбищенская ли стена?

Борд Бордссон остановился. Его немного удивляло бодрое настроение супруги. И вообще, зачем она потащилась за ним ночью на кладбище? Что она задумала?

– Знаешь... – сказал он. – Прежде чем туда идти, давай договоримся, что будем делать, если склеп открыт.

– А нам-то что за разница? Открыт, закрыт... посмотрим и домой пойдем.

– Ну да, ну да... Твоя правда...

Они пошли вдоль стены.

– Думаю, в этот час ворота заперты, – вслух рассудил Борд Бордссон.

– Еще бы не заперты. Если хотим повидаться с генералом и узнать, каково ему там, в склепе, придется лезть через стену.

И тут Борд удивился еще больше. Оказывается, жена уже стоит на кладбищенской стене. Ее силуэт четко вырисовывался на фоне уже почти совсем остывшей темно-багровой полосы на западе. Откуда такая прыть? Залезть-то ничего не стоит, стена невысокая, меньше метра, но все равно когда успела?

– Давай руку, я тебе помогу.

Они перелезли через стену и пошли молча, огибая надгробья. Борд споткнулся об один из холмиков, чуть не упал и похолодел – показалось, кто-то поставил ему подножку.

– Я ничего плохого не делаю! – успокоил он мертвецов на всякий случай и обратился к жене: – Не хотел бы я оказаться на месте настоящего грабителя...

– Не говори! – согласилась жена. – А вон и генеральские покои.

Он увидел криво положенные на ребро надгробные плиты.

Склеп, как он и опасался, был открыт. Внизу зияла яма. Никто и не начинал ее замуровывать.

– Ну и растяпы, – удивился Борд. – Будто специально соблазняют. Люди-то знают, что там за сокровище.

– Наверное, посчитали... Кто их знает, что они там посчитали. Да и правильно: кем надо быть – покойника тревожить! Это ж решиться надо...

– Решиться, не решиться... твоя правда: мало хорошего лезть ночью в могильную яму. Глубокая. Спрыгнуть туда ничего не стоит, да там и останешься, как лиса в западне.

– С чего бы? – спросила жена. – Я еще днем заметила – у могильщика там лестница. Наверняка с собой унес.

– Сейчас погляжу... – Борд пошарил рукой в могиле и удивленно поднял голову: – Глянька... лесенка на месте. Совсем спятили. О чем люди думают, ума не приложу.

– Растяпы, – согласилась жена. – Но знаешь что? Разницы нет, даже и с лестницей... Тот, в гробу, так просто свое не отдаст.

– Это, конечно, да... и я так думаю. Только давай-ка для спокойствия лестницу уберем.

– Лучше ничего не трогать, – возразила жена. – Могильщик утром придет, сразу увидит: кто-то тут был.

Они растерянно вглядывались в черный зев могилы. Что теперь делать? Надо бы идти домой, но что-то их удерживало. А что именно – ни он, ни она вслух произнести не решались.

– Да... лестницу лучше оставить, – медленно произнес Борд Бордссон после долгой паузы. – Только бы знать, что генерал сам с ворами управится.

– Спустись и проверь, что у него за власть.

Борд точно ждал этих слов. Не успел он нащупать ногой каменный пол склепа, услышал, как заскрипела лестница, и через минуту жена стояла рядом с ним.

– Ага... и ты здесь, – только и сказал он.

– Испугалась. Тебе тут небось жутко с генералом, а мне там одной-то еще жутче.

– Не так уж он страшен. Ты небось думала: у-у-у-у... высунулась из гроба костлявая ручища – и конец мне.

– Нет... – Жена перекрестилась. – Похоже, он нам зла не желает. Знает, что мы не за перстнем его пришли. А вот если начнем гроб открывать, тогда другое дело.

Борд Бордссон вздрогнул, провел рукой по крышке гроба и почти сразу наткнулся на большой шуруп с головкой в виде креста. Потом нащупал еще несколько.

– Будто специально для грабителей сделано... – проворчал он и начал откручивать шуруп.

– Ой! – шепотом крикнула жена. – Там что-то шевелится!

– Ничего там не шевелится... Тихо, как в могиле.

– А где же? В могиле и есть... не думает же он, что мы собираемся украсть его любимое кольцо... А вот если крышку поднимешь, тогда не знаю, чего и ждать.

– Подниму, если сможешь, – буркнул Борд.

Они подняли крышку. Тут уже было не до разговоров. Борд стянул перстень с полуразжившегося пальца. Рука генерала с глухим стуком упала на дно гроба. Они торопливо положили крышку на гроб, выскользнули из склепа и бросились бежать, взявшись за руки, как дети, пока не перелезли через кладбищенскую ограду.

– Он, наверное, сам того хотел, – сказала жена. – Сообразил, должно быть, негоже мертвецу прятать такое сокровище. Вот и отдал добровольно.

Муж внезапно захохотал:

– Добровольно! А что он мог сделать?

– Я и не знала, что ты такой храбрец. Мало кто полезет ночью в могилу, да в какую! Самого генерала!

– А что мы плохого сделали? У живого я бы и далера не взял, а зачем кольцо мертвецу? Червей пугать?

Их распирало от гордости и счастья. Подумать только – никому даже в голову такое не пришло, они оказались самыми умными. Как только представится возможность, Борд поедет в Норвегию и продаст перстень. За такое кольцо дадут столько, что можно уже никогда в жизни о деньгах не беспокоиться.

Внезапно жена остановилась:

– Смотри-ка! Для рассвета вроде рановато. Что это там, на востоке?

– Какой рассвет... Пожар. Где-то в Ольсбю... Господи, не дай...

Его прервал отчаянный крик жены:

– Это же у нас! У нас горит! Мелломстуга горит. Я так и знала... Генерал поджег!

В понедельник утром могильщик прибежал в Хедебю. «Что-то не так, – сказал он. – Я сразу заметил, что-то не так».

И каменщик тоже... каменщик тоже сказал – что-то не так.

Пошли смотреть. Крышка на гробе генерала лежит криво. Герб на крышке, орденские звезды и ленты на месте.

А золотой перстень-печатка, подарок короля, исчез.

### III

Я думаю о короле Карле Двенадцатом и стараюсь понять, почему его так любили и так боялись.

Мне рассказывали: незадолго до гибели он зашел в церковь в Карлстаде. Посреди службы. Прискакал в город на коне, один, без свиты, будто знал, что идет служба. Никто его не ждал. Оставил коня у ворот, прогрохотал каблуками по паперти и вошел в церковь.

Пастор уже начал проповедь. Король остановился у дверей, чтобы не мешать, и стал слушать. Даже свободного места не поискал – прислонился спиной к косяку и так и стоял.

Он вовсе не старался привлечь к себе внимание, но кто-то его узнал. Наверное, какой-нибудь старый солдат. Потерял в походе руку или ногу, и его отправили на отдых. Еще до Полтавы. Старый солдат присмотрелся и решил, что этот незнакомец в тени, с зачесанными назад волосами и орлиным носом, не может быть не кем иным, кроме как их королем. И в ту же секунду встал по стойке «смирно».

Соседи посмотрели на него с удивлением, и тогда он громко прошептал: «Король в церкви!» И весь ряд поднялся. Поднялся весь ряд! А за ним встали все прихожане. Встали, как встают, когда с кафедры звучит истинное слово самого Господа.

Старые и молодые, богатые и бедные, больные и здоровые – встали все.

Этот случай произошел, как уже сказано, в самом конце правления короля Карла, когда военная удача окончательно ему изменила. В этой церкви, наверное, не было ни единого человека, кто не потерял бы в бесконечных походах своих близких или окончательно не обнищал бы от армейских поборов. А если бы даже и нашелся кто-то, кто умудрился провести свой семейный корабль сквозь бесчисленные рифы военного времени, то и ему не мешало бы вспомнить, до какой нищеты довел страну этот король. Как много завоеваний потеряно, как много врагов нажито. Страну перестали уважать соседи.

И все же, все же... Достаточно было прошептать его многожды проклятое имя – и все, как один, молча поднялись со своих скамеек.

И продолжали стоять. Никто даже не подумал сесть. Король стоит у дверей, а пока король стоит, как могут сидеть его подданные? Какое бесчестие!

Проповедь длинная – ну что ж, можно потерпеть. Король стоит у дверей... как же можно сидеть в присутствии короля?

Король-солдат. Привык – люди безропотно идут ради него на смерть. Но здесь-то, в церкви, не поле боя и на скамьях сидели не солдаты! Простые горожане и ремесленники. Обычные люди, они в жизни даже не слышали команду «смирно!». И все равно стоило ему войти в церковь, и они оказались в его власти. Они пошли бы за ним куда угодно, отдали бы ему последнее. Они верили ему и молились за него. Они молились за этого невероятного человека. За короля их Швеции.

Вот я и спрашиваю себя, пытаюсь понять: почему любовь к королю, который привел страну на грань исчезновения, так глубоко внедрилась в старые, иссушенные сердца? Ведь многие были уверены, что он остается их королем даже после смерти...

Сейчас такая слепая преданность вызывает странное чувство. Удивление? Восхищение? Да, возможно, и восхищение, но смешанное с презрением. Раб предан своему созерену, что бы тот ни натворил. Думаю, и в наше время это не изжито.

По правде говоря, когда стало известно, что перстень украден, люди не столько обсуждали пропажу, сколько дивились, что у кого-то хватило отваги на такое дело. Одно дело – украсть обручальное колечко из могилы любящей женщины, которая не захотела с ним расстаться. Или медальон с локоном. Или Библию из-под головы усопшего пастора. Такие случаи были, и все проходило безнаказанно. Но стащить королевский перстень с руки похороненного

в Хедебю генерала! Никто и представить не мог, чтобы рожденный женщиной человек мог на такое решиться.

Само собой, дело попытались расследовать, но концов не нашли. Воры работали ночью и никаких следов не оставили.

Вот это меня удивляет. Все слышали: есть такие следователи, что работают день и ночь и все же раскрывают преступления куда менее тяжкие.

Но, может быть, в те времена таких следователей не было.

И никто не удивился, когда стало известно, что генерал сам взялся за дело. Он вовсе не смирился с потерей перстня. Уж он-то постарается его вернуть с той же свирепой решимостью, которая отличала его при жизни.

Ничего другого и не ждали.

#### IV

Прошло несколько лет. В один прекрасный день проста<sup>2</sup> из Бру позвали исповедовать и причастить бедного крестьянина Борда Бордссона. Ехать далеко, больше мили<sup>3</sup> по лесному бездорожью, и прост, немолодой уже человек, собрался было послать пастора-адьюнкта. Но дочь умирающего отказалась от адьюнкта и умоляла проста поехать самому. Такова была воля отца – либо сам прост, либо никто. Говорить он будет только с простым. Только просту он может покаяться и больше никому в целом мире.

Прост удивился и задумался. Покопался в памяти и все же вспомнил Борда Бордссона – тихий, прилежный, добродушный хуторянин. Ума, правда, небольшого, но ведь глупость за грех не почитается, тут каяться не в чем. И вообще, в чем ему каяться? Уж кому-кому, а этому бедняге, по мнению проста, прямая дорога в рай. Столько несчастий выпало на его долю за последние семь лет, сколько страданий! Нищ, как Иов. Хутор сгорел, скотина вся передохла: кто от болезней, кого медведь задрал. Переселился в щелястый сарай на лесном выпасе. Легко вообразить, что там за жизнь. Жена не вынесла лишений и утопилась в озере. И давно уже ни он, ни его дети не появлялись в церкви. Многие спрашивали – да жив ли он? Или уехал куда?

– Насколько я знаю, твой отец никаких преступлений не совершал, так что он вполне может довериться пастору, моему помощнику, – сказал прост и посмотрел на девочку с благожелательной улыбкой.

Четырнадцать лет, но высокая и крепкая не по возрасту. Вид довольно глуповатый, в отца.

– Наверное, преподобный пастор не хочет ехать, потому что боится Большого Бенгта? – спросила она с искренней тревогой.

Пастора тронуло ее простодушие.

– Что ты говоришь, моя девочка? О чем? – мягко спросил прост и снова улыбнулся. – Что еще за Большой Бенгт?

– Это он! Из-за него у нас все несчастья!

– Вот оно что... значит, Большой Бенгт?

– А преподобный пастор разве не знает, что это он сжег Мелломстугу?

– В жизни не слышал... – пробормотал пастор, поднялся со стула, взял тревник и деревянный дорожный потир<sup>4</sup>.

– Это он загнал маму в озеро, – не могла успокоиться девочка.

– Серьезное обвинение... А он жив еще, этот Большой Бенгт? Ты его видела?

---

<sup>2</sup> Прост – старший пастор (настоятель) в приходской церкви, в других странах – пробст.

<sup>3</sup> Шведская миля равна 10 километрам.

<sup>4</sup> Потир – сосуд с елеем для причастия.

– Я-то, может, и не видела... конечно жив, ясное дело! Жив! Из-за него мы и съехали на выпас. И вроде оставил он нас в покое... до прошлой недели, когда отец рубанул себе топором по ноге.

– И это тоже его вина? Большого Бенгта? – сдержав улыбку, спокойно спросил прост, открыл дверь и велел конюху оседлать лошадь.

– Откуда мне знать? Отец так сказал. Большой Бенгт, говорит, заколдовал топор. Чтобы такое случилось... как это? Я, говорит, с топором с детства. И вроде бы не сильно рубанул, а нынче посмотрел – антонов огонь. Вот, говорит, и покончил со мной Большой Бенгт. Беги, говорит, за простом, только пускай сам приедет. Мне недолго осталось.

– Еду, еду. Уже еду, – кивнул прост. Пока девочка говорила, он надел шляпу и накидку. – Но мне все же невдомек, почему Большой Бенгт так взъярился на твоего отца. Чем-то он, должно быть, насолил Большому Бенгту, хотя странно... Борд и мухи не обидит.

– Отец и не отрицает. Да, говорит, было такое. Насолил. Но не сказал чем. Ни мне, ни брату. Только преподобному просту, говорит, расскажу.

– Тогда надо поспешить.

Пастор натянул перчатки.

Они вышли из усадьбы. У крыльца уже стояла оседланная лошадь.

За всю дорогу пастор не сказал ни слова. Из головы не выходил странный рассказ девочки. Он только раз в жизни встречал человека, которого называли Большой Бенгт, и девочка наверняка имеет в виду кого-то другого.

Навстречу ему вышел молодой парень, Ингильберт, сын Борда Бордссона. Он был на несколько лет старше сестры, но очень похож: такой же высокий, крепкий, такие же грубые черты. Но если сестра выглядела наивной и добродушной, Ингильберт показался парнем мрачноватым – скорее всего, из-за глубоко посаженных глаз.

– Неблизкий путь для преподобного проста, – сказал он, помогая пастору слезть с лошади.

– Неблизкий, – согласился прост. – Но все же ближе, чем я думал.

– Отец должен был послать за преподобным простом меня, а не Мерту, но я с вечера рыбачил. Даже не знал, что у него с ногой совсем плохо. Пришел, а сестра уже убежала.

– Мерта прекрасно справилась с поручением. А что с отцом?

– Плох отец... хотя в сознании. Я увидел вас на опушке, едут, говорю. Обрадовался.

Прост прошел в хижину, а брат с сестрой присели на валун во дворе. Они говорили об умирающем отце – тихо, медленно и даже торжественно. Вспоминали, как добр был он к ним. Но с тех пор как сгорела Мелломстуга, отец покоя не находил. Не узнать – другой человек. Как подменили. Так что, может, и лучше ему помереть.

– Какой-то грех у него на душе, – сказала Мерта.

– У него? Какой грех? Он же мухи не обидит! Даже на скотину ни разу руку не поднял.

– Что-то все же было. Не зря же за простом послал. Только самому просту, говорит, откроюсь.

– Так и сказал? – удивился Ингильберт. – Грех на душе? И за простом поэтому послал? Я-то думал, он причаститься хочет...

– Он сказал: только самому просту. Только ему одному могу покаяться в тяжком грехе. Ингильберт задумался.

– Очень странно... – сказал он. – Уж не навоображал ли он себе чего в одиночестве? Все эти истории с Большим Бенгтом... думаю, навоображал.

– Он только и повторял: Большой Бенгт, Большой Бенгт...

– Вот-вот... провалиться мне на месте, бредни все это.

Юноша поднялся и подошел к хижине. Единственное маленькое окошко, больше похожее на бойницу, было приоткрыто – решили впустить в лачугу хоть немного воздуха и света. Кровать умирающего стояла совсем близко, так что Ингильберту было слышно каждое слово.

Конечно, он знал: большой грех – подслушивать последнюю исповедь умирающего. Но ведь он и не подслушивал – он же не виноват, что здесь все слышно! И к тому же какие у отца могут быть тайны?

Постоял немного и вернулся к сестре:

– Ну что я говорил?

Оказывается, они с матерью украли перстень из могилы генерала Лёвеншёльда!

– Боже милостивый! Надо хотя бы нам сказать просту – неправда! Отец бредит!

– Мы не можем туда врываться... Это же последнее причастие! Поговорим с простым, когда выйдет.

Ингильберт вернулся к окошку, но вскоре опять всплеснул руками и подбежал к сестре:

– Теперь он утверждает, что не успели они взять перстень, сгорела Мелломстуга. В ту же ночь. Говорит, генерал поджег.

– Прав ты... похоже на бред. Нам он тоже жаловался, что Большой Бенгт поджег хутор, а при чем здесь...

Ингильберт даже не дослушал. Вернулся к окошку и стоял там довольно долго. А когда подошел к сестре, лицо его было пепельно-серым.

– Он говорит – генерал. Все несчастья из-за генерала. Генерал хочет, чтобы ему вернули перстень. Мать от испуга решила бежать к ротмистру отдавать кольцо, но он не позволил. Нас, сказал он матери, обоих повесят, если мы признаемся, что ограбили покойника. И она не выдержала. Пошла и утопилась.

Теперь и сестра побледнела:

– Но отец же всегда говорил, что...

– Еще бы не говорил... а сейчас признался. Сказал, не решался ни с кем обсуждать свои несчастья. А нам, детям, придумал Большого Бенгта. Мы же не знали, что в народе так называли генерала. Большой Бенгт.

Из Мерты Бордсдоттер словно воздух выпустили.

– Значит, правда... – пролепетала она так, будто это был последний выдох умирающего.

Она огляделась. Лачуга стояла на берегу пруда, а вокруг возвышались поросшие лесом цепи холмов. Человеческого жилья, насколько глаз хватает, не видно. Не к кому побежать, не у кого искать утешения. Никогда раньше девочка не чувствовала себя такой безнадежно одинокой.

Посмотрела на опушку и сильно вздрогнула: показалось, в тени дерева стоит покойный генерал и только и ждет, чтобы наслать на них очередную беду.

Девочка не понимала, да по малости разума и не могла понять, что родители опозорили их семью. Она вообще не знала, что такое стыд, хотя бы потому, что стыдиться ей было нечего. Зато очень хорошо представила грозящую опасность: гость из потустороннего мира, беспощадный и всесильный, будет преследовать их везде и всегда. Отец умрет, и Большой Бенгт возьмется за детей. В любой момент можно с ним встретиться, не угадаешь... У нее даже зубы застучали от страха.

А отец-то отец... он жил с этим страхом семь лет! Ей теперь четырнадцать, а когда сгорел хутор, было семь. Она помнит пожар. А он-то, отец, – он ведь с самого начала знал: за ним охотится мертвец. И теперь помирает. Может, для него это и вправду лучше.

Опять подошел Ингильберт.

Она сделала последнюю попытку унять страх.

– Ты же все равно не веришь? – спросила Мерта и тут же заметила, что у брата дрожат руки, а глаза такие, будто он и в самом деле увидел привидение.

– Чему я должен верить или не верить? Отец говорит, несколько раз собирался в Норвегию, хотел там продать кольцо, но ничего из этого не вышло. Один раз заболел, в другой – лошадь сломала ногу. Как раз в тот день, когда он решил ехать.

– А прост что?

– А прост спросил, почему он не избавился от кольца за столько лет, раз уж понял, какая опасность грозит. Отец говорит – боялся, что ротмистр велит его повесить, если признается. Говорит, выбора у него не было, вот и держал перстень у себя, можно сказать, против воли. А теперь вроде бы и бояться нечего – все равно помирает. Вот он и хочет отдать перстень просту – пусть его назад в могилу положат. Тогда, говорит, хоть детей избавлю от проклятия, смогут вернуться в деревню.

– Как хорошо, что Божий служитель тут, – сказала девочка. – Меня аж трясет. Все кажется, что генерал стоит вон там, в ельнике. Подумай-ка, он, наверное, всегда здесь. У него и дел-то никаких, кроме как за нами следить. Отец его наверняка видел.

– Думаю, да, – кивнул Ингильберт. – Как же не видеть – видел.

Он опять пошел к окошку, но через минуту вернулся с горящими глазами. От недавнего страха и следа не осталось.

– Кольцо-то отец священнику отдал. Желтое, как пламя. Красотища! А тот – да, говорит, видел я этот перстень на портрете, это генеральский перстень. Как раз тот самый. Загляни в окошко, сама можешь посмотреть.

– Да я лучше с гадюкой поцелуюсь! Смотреть еще не хватало... «красивое»! Скажешь тоже... Сколько бед от него.

Ингильберт отвернулся:

– Да знаю я... он нам, может, всю жизнь испортил, этот чертов перстень. А все равно глаз не отвести, какая красота.

И не успел он произнести эти слова, послышался голос священника – красивый и сильный. До них доносилось каждое слово. До этого прост молча слушал шелестящий шепот умирающего – теперь настал его черед.

– Я даже слышать не хочу всю эту чушь, сказал прост. Что ты надумал? Давно умерший генерал преследует бедного крестьянина? Генерал лежит в могиле. А все твои невзгоды – это Божья кара за ужасное преступление. Как еще его назвать? Конечно, ужасное – обокрасть мертвого. Но дело не в покойнике. Как мог покойник поджечь хутор, как он мог насылать болезни и несчастья на людей и скотину! Нет-нет, Борд, не отягощай грех свой суеверием. Не кто иной, сам Бог хотел заставить тебя раскаяться еще при жизни, облегчить душу, и тогда грех будет прощен и тебя впустят в Царство Небесное.

Борд Бордссон слушал, не шевелясь, пылкую речь проста. Он не возражал, но священник его не убедил.

Бедняга не мог поверить, что Бог, идеал любви и терпения, настолько жесток, что послал ему все эти невзгоды. Нет, Господь так не поступит. Генерал, больше некому.

Однако дети воспряли духом.

– Слышала? – Ингильберт схватил сестру за руку. – Слышала, что прост сказал? Генерал тут ни при чем.

– Да.

Она сидела, сложив руки, как для молитвы, и впитывала каждое слово священника.

Ингильберт встал, глубоко вдохнул и выпрямился. Страх исчез, как его и не было – другой человек. Широким шагом пошел к двери и вошел в хижину.

– Что тебе?

– Хочу с отцом обменяться парой слов.

– Выйди. Сейчас не время, – строго сказал прост. – Сейчас с твоим отцом говорю я.

Он повернулся к умирающему и продолжил беседу. Подбадривал, жалел – и слова его были полны утешения и сострадания.

Ингильберт вышел и присел на уступ валуна. Закрыв лицо руками. Видно было: что-то его гложет.

Наконец вскочил и чуть не побежал в дом, но священник опять попросил его выйти.

Когда причастие закончилось, Ингильберт вызвался показать дорогу через лес. Через полчаса вышли к болоту. Священник не мог припомнить это болото – по пути сюда его вроде бы не было.

– Уж не заблудились ли мы? – спросил он, с опаской поглядев на коварную изумрудную ряску.

– Нет-нет, так короче, надо только пересечь болото. Тропу я знаю. Там гать положена.

Прост внимательно посмотрел на Ингильберта и заметил, что тот изрядно возбужден – видно, заразился от отца золотой лихорадкой. Иначе зачем он раз за разом забегал в хижину? Наверняка хотел отговорить отца отдавать перстень.

– Гать? – переспросил священник и присмотрелся. – Гать очень узкая. Это опасно, Ингильберт. Лошадь может поскользнуться на мокрых бревнах, и тогда конец.

– Не беспокойтесь, господин прост. Я проведу вас. – Ингильберт, не спрашивая, взял лошадь под уздцы.

Так они дошли до середины болота, когда вокруг уже не было ни островков, ни даже кочек – сплошная трясина.

Ингильберт внезапно остановился, и просту показалось, что не просто остановился, а начал сталкивать лошадь с узкой гати.

Лошадь попятилась. Прост еле удержался в седле и крикнул парню, чтобы тот отпустил поводья.

Но Ингильберт словно бы и не слышал окрик. С потемневшим лицом, сжав губы, он старался столкнуть лошадь в болото – верная гибель и для коня, и для всадника.

И тогда прост сунул руку в карман, достал сафьяновый кисет с перстнем и швырнул в лицо Ингильберту. Чтобы поймать кисет, Ингильберт отпустил поводья, а священник, не мешкая, пришпорил испуганную лошадь.

Ингильберт так и остался стоять. Даже не попытался догнать проста.

## V

Немудрено, что после такого приключения прост очень долго не мог прийти в себя. И совсем уж нечему удивляться, что из леса он не выехал на дорогу в Ольсбю, которая была и лучше, и короче, а забрал намного южнее и очутился рядом с Хедебю.

Отпустив поводья, прост ехал по лесной тропе и размышлял, с чего начать. Самое разумное – сразу поехать к исправнику. Пусть пошлет кого-то в лес и заберет у Ингильберта перстень. Но, как нам уже известно, прост по случайности оказался рядом с Хедебю. И раз уж так вышло, почему бы не рассказать ротмистру Лёвеншёльду, кем оказался дерзкий преступник, осмелившийся похитить из могилы генерала подарок самого короля.

Казалось бы, что тут размышлять? Что может быть естественней?

Но прост сомневался. Отношения между ротмистром и его отцом, покойным генералом, были довольно напряженные, никак не назвать безоблачными. Сын не унаследовал непреклонной воинственности генерала; напротив, ротмистр был до крайности миролюбив. Мало того, не просто миролюбив, а весьма деятелен в своем миролюбии. Сразу после подписания мира он повесил на крючок военные доспехи и все силы отдавал восстановлению края, пришедшего после войны в полный упадок.

Он не признавал самодержавия, с презрением говорил о воинской доблести и чести. Мало того, поминал недобрый словом самого короля Карла. Словом, осмеивал и презирал все, что составляло суть и смысл жизни отца. К тому же ротмистр был депутатом риксдага, причем весьма активным, и неизменно представлял партию мира. Короче, между отцом и сыном кошка пробежала, и не одна, а целая стая.

Семь лет назад, когда из склепа украли кольцо, ротмистр ничего не предпринял, чтобы его найти. Ровным счетом ничего. Так считали почти все, и прост в том числе.

– И что за смысл? – пробурчал он сам себе. – Он даже и не спросит, у кого там перстень на пальце – у помирающего Бордссона или у его сынка. Никакого резона. Надо сразу ехать к исправнику Карелиусу.

Но как раз в ту секунду, когда он натянул поводья, чтобы повернуть лошадь, произошло вот что: ворота поместья Лёвеншёльдов открылись. Никто их не открывал, они открылись сами, медленно и со скрипом. И так и остались широко открытыми, словно подавая знак подехавшему путнику. Знак радушия.

Выглядело это по меньшей мере странно, и ничего удивительного, что прост так и решил – знак. Хотя, конечно, бывает – ворота иногда открываются сами по себе. Забыли запереть, а тут ветер дунул или еще что-то в этом роде.

Сомнения отпали, и он направил лошадь во двор усадьбы.

Ротмистр встретил его даже лучше, чем прост мог ожидать.

– Как мило с вашей стороны, брат, что вы решили к нам заглянуть. И не просто мило, а очень кстати: подумайте только, я тоже... как раз сегодня я собирался вас навестить. Поговорить об одном... необычном обстоятельстве.

– И хорошо, что не навестили, брат, напрасно бы потратили время. Меня дома не было. Я ездил на хутор в Ольсбю и сейчас оттуда возвращаюсь. День был, если деликатно выразиться, с приключениями.

– Могу сказать то же самое, хотя я-то уж точно никуда не ездил. Со стула не вставал. Заверяю вас, за мои пятьдесят лет многое пришлось повидать – и в военные времена, и после. Но таких странностей, как сегодня... не припомню.

– Тогда я уступаю уважаемому брату Лёвеншёльду слово. То, что я пережил сегодня, тоже... хотя не стану утверждать, что ничего более странного в моей жизни не было.

– Вполне может случиться, что и в моем рассказе брат не найдет ничего необычного. Именно потому я и хотел спросить... вы ведь слышали про Гатенйельма?

– Вы имеете в виду этого ужасного разбойника? Пирата и грабителя, которого Карл XII произвел в адмиралы, поскольку тот делился с ним награбленным? Кто же о нем не слышал!

– Сегодня за обедом... – продолжил ротмистр. – Вот именно, не далее как сегодня за обедом разговорились мы о старых временах, о войне. Сыновья мои да и их учитель начали меня расспрашивать, как и что там было. Вы же знаете, молодым иногда интересно, как жили их родители. И заметьте, брат мой, никогда они не спрашивают про нищие и голодные годы, которые нам, шведам, довелось пережить после смерти короля Карла. Казна пуста, народ нищ и голоден. Никогда! Им интересно слушать про военные подвиги... Они словно и не видят, как мы отстраиваем сожженные города, как строим фабрики и закладываем рудники, как расчищаем заросшие поля. А может, и видят, но считают такие занятия недостойными. Иной раз кажется – им стыдно за нас, за меня и моих соратников. Им стыдно, что мы нашли в себе силы прекратить военное безумие, перестали разорять чужие гнезда и топтать чужие огороды. Они не считают нас настоящими мужчинами. Дескать, куда делась хваленая шведская храбрость? Куда делись хваленая шведская мощь и удаль? – Ротмистр горько усмехнулся.

– Вы совершенно правы, любезный брат. Военные устремления молодежи очень и очень прискорбны.

– Я пошел им навстречу, – продолжил ротмистр. – Они просили героическую историю... что ж, вот вам героическая история. Я рассказал им о Гатенйельме, о жестокости, с которой он обходился с мирными купцами и путешественниками. Думаю, уж вам-то понятно: единственной целью моего рассказа было вызвать у них ненависть и отвращение. Когда я понял, что достиг в этом определенного успеха, спросил – неужели вы хотели бы, чтобы земля была населена подобными мерзавцами? Исчадиями ада?

Не успели сыновья ответить на мой вопрос, домашний учитель попросил разрешения рассказать еще кое-что о Гатенйельме. Я согласился. Тем более он заверил, что его история в высшей степени подтверждает мою оценку этого негодяя.

Оказывается, тело Гатенйельма после его смерти – а прожил он недолго, ему и тридцати не было, – захоронили в церкви в Онсале. Похоронили с почестями. Мало того, представьте только этот дикий парадокс: его похоронили в похищенном им мраморном саркофаге, когда-то принадлежавшем датскому королю. И в ту же ночь на кладбище появились привидения. Долго жители не выдержали – отвезли саркофаг на пустынный островок в шхерах и там захоронили. В церкви воцарился мир и покой, но рыбаки рассказывали, что, как только они приближались к этому острову, оттуда доносились леденящие душу вопли и стоны, а пенные валы заливали чуть ли не весь остров – и это в штиль! Представьте, сказал учитель, море-то вокруг было совершенно спокойным! Ясное дело, души убитых и утопленных Гатенйельмом моряков и купцов поднялись из своих могил в морской пучине, чтобы отомстить разбойнику за свои мучения. К этому загаженному морскими птицами скалистому острову лучше не приближаться.

Но случилось так, что одного из рыбаков все же занесло в те места. Дело было темной ночью. Внезапно баркас его закружило в водовороте. Он закрыл лицо рукавом от плевков ледяной пены и в ту же секунду услышал громовый голос:

«Иди на хутор Гага в Онсале и скажи жене моей, чтобы послала три пучка ореховых прутьев и две можжевельные дубины!»

Прост, который до этого вполуха слушал очередную историю с привидениями, нетерпеливо заерзал – ну сколько можно?

Ротмистр предостерегающе поднял руку.

– Любезный брат понимает: послушаться приказа бедный рыбак никак не мог. Как и вдова Гатенйельма. Она приготовила самые крепкие ореховые прутья, вырезала можжевельные дубинки потолще и приказала батраку отвезти все это на остров.

На этот раз прост сделал куда более энергичную попытку прервать рассказ – ему не терпелось поведать свое приключение. Но ротмистр только улыбнулся:

– Я читаю ваши мысли, любезный брат. Должен признаться, история вызвала скепсис и у меня, но прошу дослушать. Вы и сами понимаете, этот парень, батрак из Онсалы, оказался не робкого десятка. Да, наверное, и преданность покойному хозяину сыграла роль, иначе он ни за что не взялся бы за такое предприятие. Короче, пустился он в путь. Издалека еще увидел: волны бьются о берег так, будто на море шторм, хотя не было ни ветерка, а с острова неслись отчаянные вопли. Парень покидал свою поклажу на берег и поскорее отгреб от острова.

– Почтенный брат мой... – начал было прост.

Но ротмистр был непреклонен.

– Отгреб-то он отгреб, но недалеко – его разбирало любопытство – что же будет дальше? И не напрасно – не успел он оказаться на безопасном расстоянии, в остров ударила высоченная волна, разбилась в пенные брызги, и снова с берега долетел шум битвы, сопровождаемый яростными возгласами. Продолжалось это недолго. Внезапно все стихло. Море отступило, и волны, как по команде, перестали штурмовать могилу Гатенйельма.

Батрак собрался уж было в обратный путь, но его остановил громовый торжествующий клич:

«Греби в Гату и передай любезной супруге моей, что смерть Гатенйельма не остановит. Он всегда выйдет победителем!»

Прост, сучая, дослушал и поднял глаза на ротмистра – к чему тот пересказал эту явно выдуманную историю?

– И когда учитель закончил свой рассказ... – продолжил ротмистр и посмотрел в глаза пастору. – Когда учитель закончил свой рассказ, я с прискорбием обратил внимание, что сыновья мои прониклись сочувствием к этому негодяю и убийце, мало того, едва ли не восхитились его стойкостью и мужеством. И тут же подумал – вся история ничего общего с истиной не имеет. Как тогда объяснить, что отец мой, ничуть не уступавший Гатенйельму ни в храбрости, ни в воинском азарте... как объяснить, что отец мой позволил вору забраться в его могилу, украсть перстень? Вы же помните эту историю... Вещь, которой он более всего дорожил? Значит, не было у него власти помешать или хотя бы как-то досадить негодяю.

– Это как раз то, о чем я думаю, – оживился прост. – Знаете ли вы, что...

– Дослушайте, почтенный брат, – прервал его ротмистр. – Дослушайте. Не успел я высказать это соображение, как услышал за спиной протяжный стон. Очень похожий на те стоны, что издавал отец мой, когда его мучили предсмертные боли... я вскочил в панике и обернулся – никого. Но я уверен, любезный брат... я совершенно уверен, что слышал этот стон! Конечно, ничего не сказал сыновьям, вернулся в библиотеку, и представляете – не могу отделаться от этих мыслей до сих пор... – Ротмистр помолчал секунду и внимательно посмотрел на проста: – Еще раз прошу прощения за долгий рассказ, но мне хотелось бы узнать, что почтенный брат мой думает по этому поводу. Неужели мой отец и вправду так скорбит об украденном перстне? И если это так, то... поверьте, я сделаю все, чтобы никогда больше не слышать этот ужасный, душераздирающий стон. Перетрясу хутор за хутором, если понадобится.

– Знаете ли вы, дорогой брат, что за сегодня мне уже второй раз приходится отвечать на вопрос, не тоскует ли покойный генерал об украденном перстне, столь любезном его сердцу? Выслушайте меня внимательно, а потом мы попробуем вместе обсудить все эти... как бы их назвать... все эти странности.

И прост рассказал, что произошло. Опасения оказались напрасными – ротмистр не отрицался от разговоров о перстне, как обычно, но внимательнейшим образом его выслушал. Прост с удивлением заметил, что даже в этом горячем противнике насилия живет дух сыновей Лодброка<sup>5</sup>. Синими змейками вздулись вены на лбу, ротмистр сжал кулаки так, что побелели костяшки. Пастор впервые видел ротмистра в таком гневе.

Конечно, прост представил всю историю так, как она ему виделась: несчастный вор навлек на свою семью гнев Божий. Гнев Божий – вот и все. Гнев Божий никто пока не отменял. Прост несколько не верил рассказам умирающего про вмешательство покойного генерала.

Но ротмистр смотрел на дело по-иному. Теперь он уверился, что умерший отец не найдет покоя в могиле, пока перстень не вернется на место. Проклинал себя, что до того относился к этому делу, как он выразился, легкомысленно.

Прост, увидев, в какой ярости ротмистр, пожалел, что рассказал ему эту историю. Но, как говорят, слово не воробей – пришлось рассказать всю правду. Перстень у него отобрали.

К его удивлению, ротмистр воспринял эту новость едва ли не с удовлетворением.

– И очень хорошо! – зарычал Лёвеншёльд. – Прекрасно! Значит, один вор еще гуляет на свободе, такой же мерзавец. С родителями разобрался покойный отец, а с этим негодяем разберусь я. Теперь моя очередь.

---

<sup>5</sup> Герой исландских саг, датский король Рагнар Лодброк (IX век), был казнен англичанами – его сбросили в яму с ядовитыми змеями. Сыновья с лихвой отомстили за смерть отца, захватили Юго-Восточную Англию и казнили мучительной казнью короля Эллу, виновного в смерти отца.

Просту стало не по себе – в голосе ротмистра не было ни нотки милосердия и понимания. Не дай Бог, прикажет засечь Ингильберта до смерти или задушит собственными руками.

– Я посчитал своим долгом довести до вашего сведения признания умирающего хуторянина. Надеюсь, любезный брат не предпримет никаких поспешных мер. В конце концов, это дело полиции. Я сейчас направляюсь к исправнику. Заявлю, что меня ограбили.

– Брат волен поступать как ему угодно, – мрачно произнес ротмистр Лёвеншёльд. – Но я намерен взять это дело в свои руки.

Прост попрощался, покинул Хедебю и поспешил к исправнику, надеясь завершить дело до наступления вечера.

А ротмистр Лёвеншёльд созвал слуг и работников, рассказал, как и что, и спросил, согласны ли они помочь ему в поимке вора.

Ни один человек не отказался, все были рады оказать услугу хозяину. А заодно и покойному генералу.

Остаток вечера посвятили поискам и приведению в порядок всевозможного оружия: мушкетов, шпаг, кольев, кос и даже медвежьих рогатин.

## VI

На следующий день очень рано, в четыре утра, в погоню за вором пустились человек пятнадцать, не меньше. Во главе с самим ротмистром. Никаких сомнений – их дело правое. К тому же все они служили еще при покойном генерале и были уверены: раз уж сам генерал взялся, уж кто-кто, а он-то обязательно доведет дело до конца. Так почему бы не помочь бывшему хозяину?

Не меньше мили пришлось им прошагать, прежде чем добрались до леса. Шли через долину с огородами и обменивались шутками, глядя на неказистые покосившиеся будки, где крестьяне держали свои лопаты и мотыги. На окруживших лощину холмах лепились большие деревни, в том числе и Ольсбю, где когда-то жил Борд Бордссон, пока генерал не спалил его дом.

Дальше начинался лес, густой, дерево к дереву. Он укрыл землю, как гигантская медвежья шкура, и конца ему не было, хотя и здесь чувствовалось присутствие человека. Иначе кто бы протоптал тропы к хижинам на летних выпасах и к углежогным ямам?

В лесу настроение сразу изменилось. Люди почувствовали себя охотниками. Не просто охотниками, а охотниками на крупную дичь. Разговоры и шутки прекратились, они даже шли крадучись, стараясь не наступать на сухие ветки. Время от времени кто-то останавливался, делал предупреждающий знак рукой и вглядывался в густой подлесок.

– Договоримся вот о чем, ребята, – сказал ротмистр. – Никто из вас не должен рисковать жизнью из-за этого негодяя. Предоставьте его мне. Только не дайте ему уйти.

Как бы не так! Охота возбуждает, а особенно охота на себе подобных. Людьями, вчера еще мирно грузившими сено на вешала<sup>6</sup>, овладел охотничий азарт – во что бы то ни стало найти вора, этого мерзавца, этого осквернителя могил. Найти и показать, где раки зимуют.

Они вошли в сосновый бор. Здесь стояла торжественная тишина. Чешуйчатые оранжевые стволы устремлялись ввысь, как колонны в храме. Сквозь густые кроны с трудом пробивались дымные рассветные лучи. Под ногами пружинил бурый мох, усыпанный многолетним слоем сухой хвои.

– Тихо! – шепотом крикнул кто-то.

Между стволами пробиралось трое. С носилками. А на носилках, наскоро сооруженных из связанных лыком сучьев, лежал четвертый.

---

<sup>6</sup> Вешало – стеллаж для сушки сена, льна и т. д.

Увидев вооруженных людей, они остановились. Ротмистр с его добровольной дружиной поспешили им навстречу. Лицо лежащего было прикрыто пышными ветками папоротника, но работники из Хедебю и так знали, кто это.

По спинам пробежал знобкий холодок.

Ни у кого, даже у самых завзятых скептиков, сомнений не было: он здесь. Генерал здесь. Ни тени его никак не обозначилось, ни ветерком могильным не пахнуло – но все понимали: он появился вместе с мрачной процессией. Стоит где-то рядом и указывает пальцем на покойника.

Тех троих, что несли носилки, все хорошо знали – порядочные и уважаемые люди. Эрик Иварссон, владелец большой усадьбы в Ольсбю, и его брат Ивар Иварссон, который так и не женился, жил у брата на отцовском хуторе. Оба уже в возрасте, а третий, помоложе, – усыновленный братьями Пауль Элиассон.

Хуторяне поставили носилки. Ротмистр подошел к ним пожать руку. Он никак не мог отвести глаз от листьев папоротника на лице усопшего.

– Кто это? Ингильберт Бордссон? – спросил он так, будто ему вовсе не хотелось слышать ответ.

– Да... – удивился Эрик Иварссон. – А как господин ротмистр догадался? По одежде?

– Нет, не по одежде. Еще чего! Я не видел его лет пять.

Все уставились на него с удивлением, в том числе и его люди. Их удивила не столько догадка ротмистра, сколько резкий тон обычно сдержанного и вежливого хозяина.

Ротмистр начал расспрашивать братьев. Где они нашли Ингильберта, и вообще, какого дьявола шатаются по лесу в такую рань? Иварссоны – люди уважаемые, зажиточные; никому не понравилось, что ротмистр разговаривает с ними в таком тоне.

Они отвечали неохотно и односложно, но постепенно все прояснилось.

Оказывается, накануне братья с приемным сыном пошли проведать своих работников на летних выпасах, отнести им муку и продукты. Переночевали и спозаранку отправились в обратный путь. Ивар Иварссон, бывший солдат, привычный к лесным переходам, немного обогнал спутников.

И вдруг увидел: человек на тропинке. Ивар не сразу его узнал. Утро-то совсем раннее, видимость так себе: ночная дымка еще не развеялась, но солнце уже встало, и в этом тумане, в зыбком розовом мареве поди угадай, кто там идет.

А путник, едва его увидел, в ужасе поднял руки, будто защищался. Ивар сделал еще пару шагов – и тут человек этот ни с того ни с сего упал на колени и отчаянно закричал: «Не подходи ближе!» Ивар решил, что перед ним бесноватый. Собрался было успокоить, но тот вскочил и побежал в лес. Далеко не убежал – через несколько шагов рухнул как подкошенный, а когда Ивар подошел, был уже мертв.

Только тогда он понял, кто это. Ингильберт, сын Борда Бордссона. Они раньше жили в Ольсбю, но потом их хутор сгорел, и они перебрались в хижину на лесном выпасе, а вскоре жена Борда утопилась.

Ивар никак не мог взять в толк, как это возможно – никто Ингильберта пальцем не тронул, а он ни с того ни с сего упал и умер. Потряс, похлопал по щекам – ничего не помогало.

Тут подоспели брат Эрик и Пауль Элиассон – те-то сразу сообразили, что Ингильберт мертв. Они и раньше видели мертвецов. Но, в отличие от Ивара, не видели Ингильберта живым – всего-то пять минут назад.

Ну что ж, умер – значит умер. Бывает. Разрыв сердца, наверное. Не оставлять же бывшего соседа в лесу. Наспех соорудили носилки и понесли покойника с собой.

Ротмистр выслушал рассказ Ивара Иварссона с мрачной миной. Скорее всего, так оно и было. Ингильберт явно собирался в далекий путь – котомка за спиной, крепкие башмаки. И короткая пика на носилках наверняка тоже его. Собрался в дальние страны продавать перстень, встретил Ивара и в рассветном тумане решил, что сам покойный генерал заступил ему дорогу.

Да... почему бы нет? На Иваре была голубая солдатская шинель, и шляпа нахлобучена на каролинский манер. Расстояние, туман и угрызения совести – все сошлось. Решил, что перед ним генерал, и помер от испуга.

Все так, но ротмистр никак не мог успокоиться. Задушил бы Ингильберта собственными руками, но какой смысл душить мертвеца?

Он искал выход гневу и не находил.

Задним умом ротмистр понимал: его возбуждение может показаться, мягко говоря, странным. Самое время объяснить Иварссонам, что именно привело его и его работников в лес в такую рань.

– Я должен обыскать мертвеца, – сказал он твердо, закончив свой рассказ.

Вид у ротмистра был вызывающий. Казалось, он даже будет рад, если ему откажут. Но никто не возражал – наоборот, все трое сочли его просьбу вполне разумной и отошли в сторону, пока люди ротмистра шарили по карманам, в котомке и даже в башмаках.

Ротмистр внимательно наблюдал за поисками, и в какой-то момент ему показалось, что хуторяне обменялись насмешливыми взглядами. Будто заранее знали, что перстня у мертвого Ингильберта нет.

Так оно и вышло – прощупали каждый шов. Перстня не было.

И как бы вы поступили на месте ротмистра?

Думаю, так же. Он повернулся к хуторянам. А вслед за ним и работники. Куда делся перстень? Не оставил же его Ингильберт дома. Пустился в бега, а перстень оставил? Дураку ясно – взял с собой. И где он теперь, этот перстень?

Ингильберт умер от страха, потому что в Иваре ему померещился генерал, но теперь и ротмистр, и его работники ясно почувствовали: генерал где-то здесь. Стоит в толпе, холодный и невидимый, и молча указывает на троих хуторян – дескать, перстень у них.

А почему бы нет? Им, хуторянам, наверное, тоже пришлось в голову посмотреть, что там у мертвого в карманах. Посмотрели – и нашли кольцо.

А может, и рассказ их – сплошная выдумка. Все было совсем по-другому. Они же бывшие односельчане Бордссона. Вполне могли случайно узнать, что сын собрался продавать перстень, встретили в лесу и убили, чтобы завладеть драгоценной вещью.

Никаких повреждений на теле убитого не нашли, кроме кровоподтека на лбу. Братья Иварссоны объяснили: Ингильберт, падая, ударился головой о камень. Но удар этот с таким же успехом мог быть нанесен вон той сучковатой палкой, что у Пауля Элиассона в руке.

Ротмистра терзали сомнения. Ничего, кроме хорошего, он никогда про Иварссонов не слышал. Ему вовсе не хотелось думать, что эти добропорядочные люди причастны к убийству и краже.

Работники с грозным видом собрались вокруг хозяина – они-то были уверены и даже надеялись, что без потасовки дело не обойдется.

И тогда Эрик Иварссон сделал шаг вперед.

– Мы, – сказал он, – и брат мой, и я, и Пауль, который скоро станет моим зятем, – мы все прекрасно понимаем, что о нас думают ротмистр и его люди. Поэтому я настаиваю... в общем, мы с места не двинемся, пока нас не обыщут.

От такого предложения у ротмистра камень упал с души. Он даже начал возражать – ну что вы, здесь же все знают Иварссонов и их приемыша, никто и не думал подозревать таких достойных людей.

Но братья стояли на своем. Сами начали выворачивать карманы, сняли башмаки, потом куртки. Ротмистр махнул своему войску – мол, пускай, если они настаивают. Перстня не было, но в плетеном рюкзаке Ивара Иварссона обнаружился сафьяновый кисет.

– Это твой? – спросил ротмистр, обнаружив, что кисет пуст.

И дело бы на том и кончилось, если бы Ивар Иварссон подтвердил – да, мой. Но он спокойно покачал головой.

– Нет, кисет лежал на тропинке, там, где упал Ингильберт. Совсем рядом. Я поднял, да и кинул в рюкзак. Глядишь, пригодится. Новенький совсем.

– Как раз в таком кисете лежал перстень. – Ротмистр снова помрачнел, в голосе появились металлические нотки. – Я же рассказывал: прост, спасая свою жизнь, кинул Ингильберту сафьяновый кисет с перстнем. И думаю, именно этот самый кисет. Так что делать нечего, придется Иварссонам проследовать со мной к исправнику. Если они, конечно, не пожелают вернуть перстень добровольно.

Теперь кончилось терпение у хуторян.

– Ротмистр не вправе тащить нас куда-то, – сказал Эрик Иварссони резким движением поднял пику с носилок.

Брат и приемыш встали рядом, плечом к плечу.

Работники отшатнулись, чуть не сбив с ног ротмистра, – они не ожидали такого поворота. А ротмистр захохотал – наконец-то нашелся выход ярости, терзавшей его с вечера. Выхватил саблю, одним ударом перерубил пику пополам и вновь занес клинок. Но перерубленная пика так и осталась единственным боевым трофеем капитана кавалерии – на него бросились его же люди и отняли саблю. Сообразили, что до несчастья рукой подать. Мало ли что взбредет человеку в голову в такой ярости, потом сам же будет казниться.

И надо же, именно в это утро исправнику Карелиусу тоже вздумалось совершить лесную прогулку. Он появился в сопровождении помощника как раз в самый драматический момент.

Поиски перстня возобновили, учинили новый допрос, и в конце концов Эрик Иварссон, его брат Ивар и их приемный сын были арестованы по подозрению в убийстве и ограблении.

## VII

Никто не станет отрицать – в те времена все было по-иному у нас в Вермланде. Не так, как теперь. Леса гуще, поля беднее, дворы больше, дома маленькие и тесные, дороги узкие и заросшие, не проехать. Двери низкие, пороги высокие, церкви невзрачные, богослужения долгие. Жизнь короткая и трудная. Но надо признать – даже при такой жизни никто не стал нытиком и занудой. Вермландцы – не тот народ.

Бывало, погубят посевы поздние заморозки, медведи и волки зарежут корову или овцу или, еще того хуже, дизентерия начнет косить детей. Все бывало. Но жители Вермланда не падали духом. Они держались до последнего. Если бы они не держались до последнего, мы, потомки, даже и не услышали бы о таком боевом племени – вермландцы.

Но, может, и боевой дух бы не помог, если б не Великий Утешитель. В каждой усадьбе, в каждой хижине, у богачей и бедняков, никогда не устающий и всегда готовый протянуть руку помощи Великий Утешитель.

Неужели вы подумали, что я говорю о чем-то возвышенном, величественном? К примеру, слово Божье, чистая совесть, счастье любви? Ну нет... Или вы решили, что речь идет о чем-то низменном и коварном? Скажем, о выпивке или об игре в кости? Да, кое-кто, возможно, мог этим утешиться. И утешался, но ненадолго: выпивка быстро сводила бедняг в могилу, как и сливочно-белые игральные кости, чье издевательское клацанье напоминает пляску скелетов на кладбище. Нет-нет, я имею в виду совсем не выпивку и не азартные игры. Я имею в виду совсем другое, будничное и привычное.

Огонь в очаге.

Огонь в очаге – вот Великий Утешитель! Огонь, неутомимо пылающий в долгие зимние вечера, огонь согревающий, огонь успокаивающий.

Это прямо удивительно, как украшает огонь даже самое убогое жилище! Тщательно сложенные дрова, сухие щепки, правильно поднесенная лучина – и начинает он свою веселую игру. То разгорится ярко, то сделает вид, что умирает, притворится кучей тлеющих углей. Дождется, пока хозяйка посмотрит с досадой на темнеющий малиновый скелет и встанет, кряхтя, за растопкой – и только тогда покажет язык из дальнего угла и ярко вспыхнет. Начнет разбрасывать искры, потрескивать, будто посмеивается над собравшимися погреться людьми. А если ему кажется, что в печь бросили сырое, сучковатое полено, он начинает изображать гнев, шипеть и плевать. Тут уж весь дом наполняется едким дымом. Огонь будто выговаривает людям: неужели не могли припасти для меня что-то получше? А главная потеха начинается, когда хозяйка приносит чугунную треногу с котелком – займись-ка ты лучше стряпней, дружок. Тут-то огню раздолье – он делает вид, что и в самом деле собирается что-то приготовить, затевает пляску – смотрите, дескать, как я стараюсь! И старается, да. Еще как старается! Старается, чтобы ни один язычок пламени даже не лизнул закопченное брюшко котелка, и часами дразнит проголодавшихся хозяев.

Но разве в этом дело? Посмотрите, как вспыхивает он веселым блеском в глазах только что вернувшегося с мороза, озябшего, еще не отряхнувшего снег с тулупа хозяина! Огонь, как недремлющая звезда в ледяной ночи, – он указывает путь припозднившимся странникам. А рыси и волки стараются держаться подальше, потому что в их рысьем и волчьем мире огонь означает только одно: близость самого опасного и самого заклятого врага. Человека.

И не только, не только. Огонь умеет не только светить, греть и варить, не только шипеть, дымить и стрелять разноцветными искрами. Не знаю, как ему это удастся, но огонь в очаге пробуждает в душе радость и желание жить и веселиться.

Подумайте сами – что есть человеческая душа, как не пылающий в печи огонь? Разве не так же, как призрачные языки пламени над корявыми дровами, возносится и танцует душа над доставшимся ей по случаю неказистым телом?

Язык пламени... Не зря люди придумали это выражение – язык пламени. Достаточно посидеть полчаса у пылающей печи, и вы начнете понимать этот язык.

– Душа человеческая, сестра моя, – говорит огонь на своем языке. – Разве ты не видишь, что мы с тобой – брат и сестра? Отчего же ты так печальна?

– Огонь, брат мой, – отвечает душа задумчиво. – Весь день я хлопотала по хозяйству, рубила дрова, готовила еду, стирала и прибиралась. У меня уже нет сил ни на что, кроме как сидеть и любоваться на твои игры.

– Да знаю я, знаю, – усмехается огонь пучком веселых искр. – Но ведь день-то кончился, настал вечер! Бери пример с меня – порхай, свети, грей, затевай веселые игры! А когда исчезнет мое тело, когда прогорят дрова, что ж, и я, как и ты, буду ждать, пока Хозяин подбросит новые и все начнется сначала. Не горюй!

И начинаются сказки, загадки, кто-то трогает струны из воловьих жил на выдавшей виды скрипке, кто-то вырезает узоры на оглоблях, черенках лопат и мотыг, кто-то затевает игру в фанты. Оттаивают замерзшие тела, и мрак уже не кажется таким беспросветным. Что ж мне-то вам рассказывать? Вы и сами знаете, как домашний очаг возвращает людям желание жить. Жизнь есть жизнь. Бедная, трудная, но все-таки жизнь.

Но даже не игры и развлечения, нет... Главное – рассказы. О подвигах и приключениях. Рассказы эти были в радость и взрослым, и детям и никогда не кончались. Как могли они кончиться, эти рассказы, если чего-чего, а подвигов и приключений хватало, особенно в годы правления короля Карла. А как же еще? Герои среди героев – и он, и его славное войско. И рассказы о нем не утихали, даже когда закончилось его правление. Чаще всего так и случается: поговорят-поговорят и забудут; но с Карлом все наоборот: рассказы множились и множились, и давайте не кривить душой – эти рассказы, наверное, и есть самое лучшее его наследство.

Конечно, более всего в ходу были байки о самом короле, но не забывайте, что история наша происходила в Вермланде, а в Вермланде едва ли не чаще рассказывали о знаменитом генерале из Хедебю – его же почти все знали, многие видели, а некоторым даже посчастливилось с ним поговорить. Уж кого-кого, а своего генерала они могли описать с головы до пят.

А до чего силен был генерал! Гнул кочергу, как другие гнут вязальную спицу. Как-то ему довелось услышать, что в Свартшё живет знаменитый кузнец, великий мастер своего дела. Подковы его славились не только в Вермланде, но и по всей стране. Генерал, недолго думая, поскакал в Смедсбю и попросил Микеля – так звали знаменитого кузнеца – подковать его коня. Кузнец принес подкову – лучше не бывает. А генерал расхохотался.

– И это ты называешь железом? – спросил он и начал гнуть подкову, пока она не сломалась.

Кузнец побледнел.

– Все раковины в металле не угадаешь, – сказал он, стараясь скрыть смущение. – Бывает. Сейчас принесу другую.

Но и со второй та же история. Генерал и бровью не повел, только желваки слегка заиграли на скулах. Свел концы подковы вместе, как ножницы, и продолжал гнуть, пока в руках его не остались две половинки.

Тут кузнец заподозрил неладное.

– Тут, значит, вот что, – сказал он. – Либо ты сам король Карл, либо Большой Бенгт из Хедебю. Другого быть не может.

– А ты догадлив, Микель, – расхохотался генерал, заплатил за сломанные подковы, купил еще четыре и пустился в путь.

Таким рассказам конца не было. Во всем уезде не найти человека, который бы не знал про генерала Лёвеншёльда, знаменитого силача и храбреца. О нем говорили с почтением и страхом даже после его смерти. И удивлялись человеческой подлости и жадности: как мог кто-то решиться украсть из могилы золотой перстень, подарок самого короля!

Легко понять, какое бурление в уезде вызвала новость, что перстень нашелся и потом вновь пропал! А Ингильберта нашли мертвым в лесу! И самое главное: фермеров из Ольсбю посадили в каталажку – их подозревают в краже генеральского перстня. Прихожане возвращаются утром из церкви, а домашние не могут дождаться, когда же они наконец снимут воскресное платье и утолят голод: какие новости? что там слышно? что говорят свидетели? в чем братья признались? какой будет приговор?

Ни о чем другом и не вспоминали. И в лачугах арендаторов, и в богатых домах одно и то же: вечером собираются у печи и устраивают домашний суд.

Дело тяжелое. Простым не назовешь. Как тут решить, когда трудно, да что там говорить, даже не трудно, а почти невозможно поверить: все же знают братьев Иварссонов и их приемного сына! И чтобы эти люди решились укокошить парня ради какого-то кольца! Да будь оно хоть из чистого золота... и тут все переглядывались: перстень-то и в самом деле был из чистого, чище некуда, золота.

И что? Неужели Эрик Иварссон, богач, много угодий, несколько домов, – неужели Эрик Иварссон пойдет на такое? Замечательный, достойный человек! Разве что гордый чересчур. Вспыльчивый – не дай бог ему покажется, что кто-то покушается на его честь, тут он из штанов выпрыгивает. Но никакие сокровища в мире не заставят его пойти на такое подлое преступление. Эрик-то Иварссон? Ни за что.

И брат его, Ивар, тоже вряд ли. Он, конечно, не так богат, как Эрик, но живет у брата и ни в чем отказа не знает. И такой добрый, что скорее свое отдаст, чем возьмет чужое. А ограбить человека, да еще убить при этом – ну нет. На такое Ивар не способен.

Теперь их приемный сын, Пауль Элиассон. Любимец братьев, жених единственной дочери Эрика, Марит Эриксдоттер, наследницы всего состояния. Если кого и подозревать, то

его: он ведь по рождению русский, а у русских кража за грех не почитается. Это всем известно. Даже наоборот: украсть – это у них вроде духовной скрепы. Ивар Иварссон привез его с собой трехгодовалым мальчонкой, когда вернулся из русского плена. Родители погибли, родственников нет, и, скорее всего, мальчик помер бы от голода в своей собственной стране. Русский-то русский, ну и что? Пауля воспитали честным, порядочным парнем, никогда и ни в чем дурном замечен не был. Марит и Пауль выросли вместе, полюбили друг друга с детства, парочка – сердце радуется. И ради какого-то кольца, пусть и дорогого, поставить на кон все – любовь, богатство, счастье? А может, упаси Господи, и жизнь?

Нет, с Паулем тоже не складывалось.

А с другой стороны, нельзя забывать и о генерале. Легенды о генерале вермландцы слышали с самого детства. Они знали о нем едва ли не больше, чем о своих собственных отцах. Могучий, храбрый, справедливый генерал – и вот он умер, а его мерзким и постыдным образом обокрали. Мертвого!

И, конечно же, генерал знал: Ингильберт Бордссон, пустившись в бега, прихватил его перстень. Иначе его бы не убили, и он продолжил бы свой путь – кому какое дело, мало ли кто ищет счастья в чужих краях? И, скорее всего, генерал знал также и другое: кто-то из фермеров все же позарился на перстень. В противном случае вряд ли они встретили бы ротмистра с его людьми, и никому б и в голову не пришло подозревать их в краже, а тем более сажать в кутузку.

Нелегко, конечно, решить такой сложный вопрос, но генералу люди верили безоговорочно. Может быть, даже больше, чем самому королю Карлу. И уж, конечно, больше, чем себе самим. Короче, приговоры, вынесенные в хижинах, были в подавляющем большинстве обвинительными.

Но, ко всеобщему удивлению, уездный суд в Брубю, проведенный по всей строгости закона, так и не смог найти доказательств преступления. И тем более добиться признания.

Обвиняемых признали невиновными, но из тюрьмы не освободили, поскольку решения уездного суда по закону проверяются верховным судом провинции. А верховный суд провинции постановил вот что: подсудимые виновны и подлежат казни через повешение.

Но и это постановление не стали приводить в исполнение, поскольку такие приговоры должны утверждаться королем.

А когда огласили решение короля, прихожане, вернувшись из церкви, в кои-то веки не уселись сразу за стол, а поспешили поделиться новостями с домашними.

Королевский вердикт был необычен: поскольку один из обвиняемых несомненно совершил убийство и кражу, но при этом никто из них не хочет признать себя виновным, пусть их рассудит Бог. На следующем же заседании уездного суда оба брата и приемный сын в присутствии заседателей должны будут кинуть кости. Тот, у кого выпадет меньше очков, будет признан виновным и повешен за свое преступление, а оставшихся двоих следует немедленно отпустить. Отпустить на все четыре стороны, без всякого ущерба для их состояния и репутации.

Мудрое и справедливое решение. Ни у кого, даже у заядлых скептиков, приговор не вызвал и тени протеста. Какой благородный жест старого короля! Он не стал оспаривать решение суда. Он дал понять, что не считает себя выше правосудия в таком сложном и запутанном деле. Король, как полагалось бы и каждому из нас в трудные моменты жизни, обратился к Всеведущему и Всемогущему. Теперь-то можно быть уверенным, что истина выплывет наружу.

Прошу вас не упускать из виду, насколько необычным было это судебное дело. Ответчики – что ж, ответчики и есть ответчики, но истцом-то выступал покойник! Покойник, потребовавший вернуть ему его законное имущество. Конечно, решать судьбу и жизнь людей игральными костями по меньшей мере странно. Никто такого и припомнить не мог. В обычном случае – да. Более чем странно. Но здесь же не обычная тяжба! Уж покойный-то генерал наверняка знает, кто из троих украл его перстень. В том-то и заключалась мудрость королевского вердикта, что он как бы предоставлял право казнить и миловать не мирскому суду, а покойному генералу.

А может, и не «как бы». Может, король Адольф Фредрик и в самом деле решил положить на генерала Лёвеншёльда. Он же знал его при жизни, знал про его военные подвиги. И посчитал, что генералу вполне можно доверить такое щекотливое дело. Может, и так. Мы не знаем и никогда не узнаем – столько лет прошло!

Надо ли удивляться, что в решающий день чуть ли не весь уезд был на месте. Все, кто не был слишком стар, чтобы дойти до Брубю, и не слишком мал, чтобы доползти, собрались у здания суда. В уезде много лет не случалось ничего настолько примечательного. Конечно, можно остаться дома и дожидаться новостей, но одно дело – услышать, а совсем другое – увидеть самому.

Дома и усадьбы в этих местах встречаются редко, можно пройти милю, а то и две и не увидеть ни одной живой души. Но теперь, когда все столпились на площади, люди с удивлением поглядывали друг на друга – вот как нас много, оказывается. Стоим плечом к плечу.

Все даже не вместились на небольшой площади, кое-кто толкся на примыкающих улочках. Будто пчелиный рой собрался у летка в погожий летний день. Не молчаливые и сдержанные, как в церкви, не радостно возбужденные, как на ярмарке, нет – люди гудели и жужжали, как рассерженные пчелы, и в этом грозном гуле не было ни сочувствия, ни даже жалости. Только ненависть и желание мести.

Я очень прошу: не надо сгоряча обвинять людей в кровожадности. Тут нечему удивляться. Страх перед разбойниками всосан с молоком матери. В то время даже в колыбельных песнях то и дело появлялись таинственные злодеи и бродяги. Они таились вокруг и только и дожидались, когда подвернется случай похитить очередного не желающего засыпать младенца. Воры и убийцы не считались за людей. Даже в мыслях не возникало, что такие выродки заслуживают милосердия.

И вот сегодня одного из таких негодяев приговорят к смерти, и люди искренне радовались и с нетерпением ждали приговора.

«И слава Богу, – рассуждали они, даже не зная, на кого падет роковой выбор. – Теперь, по крайней мере, можно не бояться этого дьявольского отродья. Теперь он нам не навредит».

Божий суд по случаю такого скопления людей решили провести не в здании, как обычно, а прямо на площади. Решение правильное, но понравилось не всем. К неудовольствию толпы, крыльцо окружила рота солдат. Они встали в каре и подняли пики – похоже на частокол, каким огораживают загоны для скота. Послышались ругательства. Дело необычное; как правило, никто даже и подумать не мог, чтобы позволить себе такую дерзость – сквернословить. Суд все-таки. Но толпа уже не могла унять охватившее ее кровожадное возбуждение.

Не надо забывать – многие пришли заранее, хотели занять место поближе. Они стояли уже много часов. Ни присесть, ни заняться чем-то – каждая минута ожидания добавляла толпе озлобления.

Наконец служитель вынес большой барабан и поставил его в центре ограждения. Одобрительный гул – значит, все же собираются завершить дело до вечера. Служитель вернулся в дом, притащил стол, опять скрылся и на этот раз принес в одной руке стул, а в другой – чернильницу и перо для писца. И опять исчез. А в третий раз явился налегке, с маленьким глиняным стаканчиком, в котором зловеще клацали игральные кости. Пару раз швырнул их на барабан – видно, хотел удостовериться, что кости правильные и падают в случайном, а не кем-то предусмотренном порядке.

И опять скрылся. Ничего удивительного: пока он бегал туда-сюда, из толпы выкрикивали оскорбления, разве что не плевались. И плевались бы, если бы не частокол солдатских пик.

Что происходит с людьми? Никогда, ни при каких условиях эти достойные, трудолюбивые крестьяне и работники ничего подобного себе бы не позволили. Но толпа – это не люди. Искать разум в толпе – дело глупое и бессмысленное. В толпе умирают все чувства, кроме жажды крови и разорения.

Солдаты расступились и пропустили судью и присяжных. Кто-то из них шел пешком, кто-то на всякий случай ехал на лошади – мало ли что придет в голову обозленным долгим ожиданием людям.

Собравшиеся оживились. Послышались выкрики, громкие приветствия перемешались с не менее громкими упреками. И призвать людей к порядку никто не решался. Опытные чиновники знали – толпа всегда беременна бунтом. Так было вчера и, боюсь, так будет и завтра. Запальным шнуром для взрыва может послужить все что угодно: неловко оброненное слово, жест, неправильно истолкованная гримаса.

Приехали и господа, их тоже пропустили в здание. Ротмистр Лёвеншёльд, прост из Бру, заводчик из Экебю, капитан гвардии из Хельсесеттера. Всем им пришлось выслушать упреки и насмешки – им-то не пришлось толкаться здесь часами! Господа небось только что проснулись, да еще и освежились перегонным.

Никто не отвечал. Все знали: неудачно оброненное слово может привести к беде. Молча проследовали в дом.

И только тогда все обратили внимание на молоденькую девушку, стоявшую у самого оцепления. Маленькая, хрупкая – с чего бы ей досталось такое почетное место? Ее попытались оттеснить, но кто-то крикнул – не трогайте, это же дочка Эрика Иварссона из Ольсбю.

И ее оставили в покое. Но ненадолго: начали ехидно спрашивать, кого бы ей больше хотелось увидеть на виселице – отца или жениха? И как у нее вообще хватило наглости сюда явиться? И, собственно, какого рожна дочь или невеста вора должна стоять на лучшем месте?

Тут кто-то поведал, что девчушка не из пугливых: она не пропустила ни одного заседания суда. Кивала и улыбалась обвинителям, будто была уверена, что ее родных завтра же, ну, самое позднее – послезавтра выпустят на свободу. И обвиняемые, глядя на нее, тоже обретали мужество – хоть одна живая душа уверена в их невиновности. Все же есть на свете человек, который даже мысли не может допустить, чтобы какое-то несчастное кольцо, пусть и сто раз золотое, толкнуло их на такое ужасное преступление.

Она часами высиживала в суде, красивая, терпеливая, спокойная. Ни разу никого не обидела, не поставила в глупое положение. Ни разу не заплакала, ни разу не вышла из себя. Можно сказать, подружилась со всеми – и с судьей, и с исправником, и с присяжными. Никто бы из них не признался, но поговаривали, что уездный суд никогда, ни при каких условиях не оправдал бы обвиняемых, если бы не она. Невозможно даже представить, чтобы Марит Эриксдоттер могла так любить убийцу и грабителя.

Она пришла и на этот странный суд. Пришла, чтобы осужденные могли ее видеть. Пришла, чтобы служить им опорой и поддержкой. Она будет молиться за них, куда идет необычная жеребьевка. Молиться и просить о Господней милости.

И кто знает? Яблоко от яблони недалеко падает, это так, но выглядит-то она вовсе не как дочь убийцы. И сердечко у нее любящее. Что да, то да.

Так что пусть стоит, где стоит.

Девушка, разумеется, слышала выкрики в толпе, но бровью не повела. Не плакала, не отвечала, не пыталась убежать. Она знала твердо – ее присутствие послужит несчастным утешением. В озлобленной, возбужденной предвкушением казни толпе никто, кроме нее, не почувствует осужденным.

И надо признать, стояла она не напрасно. У многих тоже были дочери, такие же кроткие и невинные, как эта девушка, и люди понемногу начали соображать: они ни за что не хотели бы видеть своих дочерей на месте этой Марит. Начали раздаваться голоса в ее защиту, кое-кто даже пытался урезонить самых назойливых крикунов и остряков.

И когда после бесконечного ожидания двери суда распахнулись, многие, надо отдать им должное, почувствовали облегчение не только за себя, но и за Марит. Не будем строго судить:

кое у кого на дне бурлящего озера ненависти, злого любопытства и жажды крови все-таки били робкие родники человечности и сострадания.

Медленно и торжественно на крыльцо вышли служитель, исправник и подсудимые. Наручники с них сняли, но у каждого по бокам шли двое солдат. За ними выступали пономарь, прост, присяжные, писец и судья. Последними явились важные господа и несколько зажиточных, уважаемых хуторян, удостоившихся чести пройти за ограждение; повернись дело по-иному, среди них были бы и братья Иварссоны. Исправник и подсудимые с конвоем прошли налево, судья и присяжные заседатели – направо. Господа остались у дверей. Писец со своими свитками сел за стол и начал чинить перо.

Роковой барабан стоял посередине, ничто не мешало его видеть.

Как только процессия появилась, в толпе началось движение. Парни поздоровее проталкивались поближе, отталкивая женщин и стариков. Они попробовали было оттеснить и Марит Эриксдоттер, но она, маленькая и тоненькая, встала на четвереньки, проскользнула между ног солдат оцепления и оказалась на огороженной площадке, по ту сторону палисада из поднятых солдатских пик.

Это было нарушением порядка, и исправник раздраженно кивнул служителю – убрать. Но тот довел ее до столпившихся у дверей зрителей и отпустил – он-то видел Марит на всех судебных заседаниях и знал, что никакого беспорядка от нее ждать не приходится. Лишь бы ей разрешили стоять поближе к своим родным. А если исправнику вздумается отчитать ее за выходку, вот она, никуда не денется, так и будет здесь стоять. Не убежит.

Но уже никто и не обращал внимания на Марит. Прост и пономарь вышли на середину оцепленной площадки. Оба, как по команде, сняли шляпы. Пономарь вытащил книгу псалмов и начал петь. И, только услышав пение, те, кто стоял за оцеплением, начали понемногу соображать, что происходит что-то очень важное и торжественное, что они никогда в жизни такого не слышали и не видели: люди обращались к Всеведущему и Всемогущему в надежде услышать Его волю.

А когда заговорил прост, настала мертвая тишина. Священник обращался к Иисусу, Сыну Божьему, к Тому, кто и Сам когда-то стоял перед Пилатовым судом. Он просил милости – но не для подсудимых, а для судей, чтобы они, не дай Бог, не приговорили к смерти невинного. И, конечно, Иисус сжалится и над собравшимися, не позволит им, как евреям в Иерусалиме, оказаться невольными свидетелями несправедного суда.

Вслед за простом и все обнажили головы. Настроение изменилось, никто уже не думал о земном. Прост воззвал к Богу, и людям казалось, что зов его услышан и Бог уже где-то здесь, среди них. Они ощущали Его присутствие.

И как не ощутить? Чудесный осенний день, такие выпадают очень редко. По голубому небу плывут легкие кружевные облака, а деревья еще не сбросили свой золотой наряд. Один за другим над головами пролетают караваны улетающих в южные края птиц. Их так много, что кое-кто решил: наверняка знак Божий. Господь одобряет этот необычный суд.

Священник закончил молитву. Рядом с ним встал предводитель уездного дворянства и по бумаге зачитал королевский вердикт – такой длинный и запутанный, что многие не успевали следить за смыслом. И все же главное поняли все: король считает, что для земной власти настал час отложить в сторону меч и весы, забыть опыт, забыть веками отточенную мудрость и довериться указующему персту Божьему.

Исправник взял стаканчик и попросил судью и любого из стоящих рядом кинуть кости на барабан – убедиться, что кости как кости, цифры на гранях от единицы до шестерки. Все, как и должно быть. Никакого жульничества.

Когда кубики застрекотали по натянутой коже барабана, многих охватил страх. Эти с виду невинные игрушки стоили жизни и счастья многим их знакомым... неужели можно им

доверить провозгласить Божью волю? Стоят ли того они, а может, в них самих таится обман? Наверняка кости изобретены не человеком, а дьяволом.

Кости опробовали, убедились – все в порядке. Подсудимых подвели к барабану. Стакан передали Эрику Иварссону, как самому старшему из трех. Исправник успокоил Эрика – это еще не окончательный жребий. Сначала надо определить, кому кидать кости первым.

Пауль набрал наименьшее количество очков, Ивар Иварссон – наибольшее. Ему и начинать.

За время, что они сидели под стражей, одежда, та же, что и была на них, когда они встретили ротмистра в лесу, испачкалась и истрепалась. И сами обвиняемые, так же как их одежда, выглядели ужасно. Многим показалось, что Ивар Иварссон смотрится лучше других, но этому тут же нашлось объяснение – он же солдат, да еще и побывал в плену. Привык ко всякого рода передрыгам. Держится прямо, достойно, ни малейших признаков страха.

Ивар Иварссон принял у исправника стакан и посмотрел ему в глаза.

– Не впервой, – громко, так, чтобы все слышали, сказал он и слегка улыбнулся. – Игрывал я и с Большим Бенгтом из Хедебю. И кости были такие же. Не раз игрывал, пока коротали мы вечера в русской степи.

Исправник хотел было его поторопить, но толпа возмущенно загудела – дай человеку договорить!

– Но даже подумать не мог! – продолжил Ивар Иварссон. – Даже во сне такое не снится! Надо же, придется еще разок сыграть в кости с самим генералом.

Вот это самообладание! Ему на смерть идти, а он шутит.

Ивар Иварссон сжал стаканчик ладонями – он молился. Тихо прочитал «Отче наш» и снова посмотрел на исправника:

– И молю тебя, Господи наш Иисус Христос... ты знаешь, я невинен, но молю тебя – сделай так, чтобы мне выпало меньше всех. У меня нет ни детей, ни жены, ни любимой, плакать по мне некому.

Произнес эти слова – и, не глядя, кинул кости на барабан.

И что же? Все до единого, и мужчины, и женщины, – все желали, чтобы Ивара Иварссона отпустили на все четыре стороны. Он им понравился – такой мужественный, такой смелый, такой благородный. Как они могли даже подумать, что он преступник? А как невыносимо стоять так далеко, что не только пятнышки сосчитать, сами кости почти не видны!

Судья и исправник наклонились над барабаном, подошли и заседатели. Переглянулись, удивленно пожали плечами, кто-то из присяжных даже пожал руку Ивару Иварссону.

Толпа пребывала в неведении. Начался ропот, возмущенные возгласы.

– Ивар Иварссон выкинул две шестерки, больше выкинуть невозможно, – выкрикнул исправник.

Все понятно – бывший солдат свободен. Послышались радостные пожелания:

– Будь счастлив, Ивар Иварссон!

Но тут произошло событие, повергшее толпу в полное недоумение. Пауль Элиассон издал радостный вопль, сорвал шапку и подбросил в воздух. Это было так неожиданно, что стражники не успели ему помешать. Но что с Паулем? Да, конечно, Ивар для Пауля все равно что отец, но ведь дело-то идет о жизни и смерти! Неужели он и вправду радуется, что освободят кого-то другого, а не его?

Порядок постепенно восстановили, толпа утихомирилась. Все разошлись по своим местам: чиновники направо, стража и обвиняемые налево. Теперь роковой барабан опять виден всем и каждому.

Настала очередь Эрика Иварссона.

Нет, Эрик выглядел далеко не так браво, как его брат. К барабану подошел сломленный старик. Его трудно было узнать, он даже шел с трудом – стражникам пришлось поддерживать

его под локти. Неужели это Эрик Иварссон, всегда бодрый, веселый, полный сил и планов? Взгляд его блуждал – похоже, он не очень понимал, где находится и что ему предстоит.

Эрик дрожащей рукой принял стакан с костями и сделал попытку выпрямиться:

– Благодарю Бога... Благодарю Бога, что Он освободил от подозрений моего брата Ивара. Я так же невинен, как и он, но Ивар – лучший из нас двоих, и я прошу Господа нашего Иисуса, чтобы Он позволил мне сделать самый плохой бросок. Тогда моя дочь сможет выйти замуж за того, кого она любит всем сердцем, и они будут жить счастливо до конца жизни.

Так бывает со стариками – тающая сила жизни переходит в голос. Толпа услышала каждое сказанное Эриком Иварссоном слово. Поднялся шум. Непохоже на Эрика, чтобы он признал кого-то более достойным, чем он сам, и тем более пожелать себе смерти ради счастья кого-то другого. Это было настолько величественно, что в толпе уже никто не верил в его вину. Как может такой благородный человек быть вором и убийцей? У многих на глазах выступили слезы, кто-то молился, чтобы Эрик выбросил побольше.

Эрик даже не потряс стаканчик, как это делают игроки. Он, не глядя, перевернул глиняную посудину, отвернулся и замер.

Кости с глухим стуком вывалились на кожаную мембрану барабана. Судья и присяжные поспешили посмотреть на результат.

Подшли к барабану и замерли. На лицах их читалось теперь не просто удивление, как в первый раз, а самое настоящее изумление.

На этот раз они даже не успели объявить результат. Толпа мгновенно все поняла, и тишину прорезал пронзительный женский голос:

– Благослови тебя Бог, Эрик Иварссон!

И сразу последовал многоголосый крик толпы:

– Благодарение Богу, Он помогает невинным! Он помог и тебе, Эрик Иварссон!

И опять в воздух взлетела шапка Пауля Элиассона. Что с ним? Неужели он такой идиот? Неужели не понимает, что обречен на верную смерть?

Эрик Иварссон так и стоял неподвижно. Сначала думали, что он ждет, когда будет известен результат, но странно! – даже когда судья объявил, что Эрик так же, как и его брат, выкинул две шестерки, лицо его ни на секунду не просветлело. Он кое-как добрал до своего места, совершенно обессиленный. Если бы стражник его не поддержал, наверняка упал бы.

Все взгляды были устремлены теперь на Пауля Элиассона. Люди и раньше подозревали, что он и есть преступник, а теперь Пауль, считай, приговорен: вряд ли три раза подряд выпадут шестерки.

Ну что ж, Бог все видит. Но что это?

Все были так ошеломлены невиданным результатом жребия, что никто не заметил, как Марит Эриксдоттер проскользнула мимо стражников и встала рядом с женихом.

Он обнял ее за талию. Никаких поцелуев, никаких ласк. Она просто стояла и молчала, прижавшись к жениху. Никто не мог бы сказать, когда именно Марит успела подойти к Паулю, – все напряженно смотрели, как Эрик Иварссон кидает роковые кости.

Непостижимо! Как она там оказалась? Только что стояла, где поставил ее служитель, – и будто неведомая сила перенесла ее к жениху. По воздуху перелетела, как птичка. И никто – ни охрана, ни грозные судебные чиновники, ни смертельная игра не могли ей помешать.

Любовь... Нет, не обычная земная любовь объединила их в эту страшную минуту. Не юная страсть, нет, что-то иное, выше. Выше и чище. Они могли бы так стоять у плетня в тихое летнее утро – протанцевали всю ночь и впервые открылись друг другу, что хотели бы стать мужем и женой. Или после первого причастия, когда внезапно поняли: души их освобождены от греха. И даже не так – они выглядели так, будто оба уже перешагнули порог смерти. Перешагнули, встретились там, на другой стороне, и осознали, что ничто и никогда не сможет их разлучить.

Девушка, слегка приподняв голову, смотрела на своего жениха с такой любовью, что по толпе прошел ледяной ветерок ужаса. Все внезапно поняли, что жалеть-то надо именно его, Пауля Элиассона. Он как юное деревце, которому не суждено дожить до цветения, не суждено завязать плоды. Как засеянное поле ржи, которое затопчут и лишат возможности поделиться с другими своим богатством.

Пауль осторожно освободил руку, пошел за стражником к барабану и взял стакан с костями. Никакого страха или тревоги не читалось на его лице. Он не стал обращаться к людям, улыбнулся и крикнул Марит:

– Не бойся! Уж Господь-то знает, что я так же невинен, как и остальные.

Он ловко, даже весело покрутил стакан с костями, выкинул их на барабан и ждал, пока они перестанут прыгать по кожаной мембране. И тут уже не потребовалось вмешательство исправника: сам Пауль громко и отчетливо крикнул:

– Шестерки! Я выкинул две шестерки, Марит! Как и они, как Ивар, как Эрик, – две шестерки!

Конечно же он был уверен, что его тут же освободят из-под стражи. Подпрыгнул, уже в третий раз подбросил свою шапку, обнял стоящего рядом стражника и вlepил ему поцелуй.

В толпе стали переглядываться. Все-таки заметно, что он русский. Швед никогда бы так себя не повел. Еще ведь не отпустили, чему же радоваться до времени?

Судья, исправник, присяжные и местная знать подошли к барабану – надо было убедиться, что все так и есть, но радости на их лицах не было. Стояли, качали головой, и никто даже не подумал поздравить Пауля Элиассона с удачным броском.

Исправник в третий раз подошел к крыльцу суда:

– Пауль Элиассон выкинул наивысшую возможную сумму – две шестерки.

Толпа зашевелилась, но радоваться, в отличие от Пауля Элиассона, никто не спешил. Мысль об обмане никому не приходила в голову – как тут можно обмануть? Кости есть кости. Но всеми овладело недоумение и даже страх: как же быть? Испытание не внесло никакой ясности.

Что это значит? Все трое одинаково невинны? А может, наоборот, все трое виновны в ограблении и убийстве?

Ротмистр Лёвеншёльд быстрым шагом подошел к судье. Хотел, наверное, сказать, что ничто пока не решено, но судья не стал его слушать, подозвал присяжных, и они скрылись за дверьми суда – на совещание.

Они вернулись довольно быстро.

– Суд склоняется к тому, что результаты испытания следует толковать в пользу обвиняемых и отпустить всех троих на свободу.

Пауль Элиассон оттолкнул стражников и вновь подбросил в воздух свою шапку – и на этот раз поторопился.

– Но! Мы обязаны согласовать решение уездного суда с мнением Его Величества, для чего в Стокгольм сегодня же будет послан курьер. В ожидании решения подозреваемые будут содержаться под стражей.

## VIII

Лет через тридцать после этой памятной жеребьевки Марит Эриксдоттер сидела на крыльце свайного сруба в когда-то принадлежавшей ей усадьбе Стургорден в Ольсбю. Собралась связать варежки для внучатого племянника. Пусть порадуетса ребенок. Мечтала, чтобы варежки вышли красивее, с полосками и клеточками, но с огорчением поняла, что не может припомнить ни один узор.

Порисовала немного спицей на ступеньке, прикинула – ничего не выходит. Поднялась в хижину и открыла свой сундучок. На самом дне лежала шапочка с затейливым, искусно вывязанным узором. Она задумчиво повертела ее в руках и вернулась на крыльцо.

Рисунок, конечно, красивый, но шапочка изрядно побита молью.

Что ж тут удивительного. Тридцать лет никто не надевал. Надо и остальные вещи посмотреть. Моль – такая зараза...

Шапочку украшал большой разноцветный помпон с кисточкой, в нем-то, скорее всего, и гнездилась моль. Марит встряхнула шапочку и чихнула – в воздух взвилось легкое облачко шерстяной пыли. Мало того, помпон оторвался и упал ей на колени. Она покачала головой и посмотрела, можно ли приладить его на место и есть ли в этом смысл. Похоже, уже вся шапка изъедена, начнешь работать – рассыплется в труху.

Внутри что-то блеснуло. Она раздвинула пряжу и увидела большой золотой перстень с печаткой из темно-красного, в изящных прожилках камня. Кто-то зашил его в помпон.

Шапка упала на пол. Она никогда раньше не видела этот перстень, но ей даже не понадобилось разглядывать инициалы и надпись на внутренней стороне – она и так знала.

Марит побледнела и прислонилась к треснувшей балясине. Ей показалось, что сердце сейчас разорвется.

Ее отец, дядя и жених заплатились жизнью за этот перстень – и вдруг она находит его в помпоне вязаной шапки Пауля!

Как он туда попал? И знал ли Пауль сам, что перстень у него?

– Нет! – чуть не выкрикнула Марит. – Он не мог знать!

И тут же вспомнила, как Пауль радостно подбрасывал эту шапочку в воздух – решил, что и он, и братья Иварссоны уже свободны и могут идти на все четыре стороны.

Эта сцена стояла у нее перед глазами, будто все происходило не тридцать лет назад, а вчера.

Она помнила, как толпа, поначалу издевательски-враждебная, постепенно приняла сторону обвиняемых. Она помнила нежно-голубое осеннее небо, тающие белые облака, помнила бесконечные косяки перелетных птиц – те словно заблудились и раз за разом с отчаянными криками пронеслись над площадью, где происходило судилище. Помнила, как Пауль шепнул ей – скоро и моя душа будет летать над тобой, как эта заблудившаяся птичка... позволишь ли ты ей поселиться под желобом в их усадьбе в Ольсбю?

Нет-нет, Пауль никак не мог знать, что в его шапочке зашит украденный перстень. В шапочке, которую он с такой детской радостью швырял в легкое, ничего дурного не предвещающее небо.

Сердце ее каждый раз сжималось, когда она вспоминала тот день, и она старалась его не вспоминать, но сейчас-то, сейчас надо припомнить все до мелочей.

На следующий день пришло указание из Стокгольма – результаты испытания следует толковать в пользу обвинения: все трое в равной степени виновны и подлежат смертной казни через повешение.

И она, Марит, пришла на казнь. Они должны знать, что есть на свете хотя бы один человек, который верит в их невиновность и оплакивает их ужасную судьбу.

Но, как оказалось, не только она. Теперь уже почти все считали, что невероятное, почти невозможное совпадение следует толковать как раз наоборот: все трое невинны. Ее жалели и старались подбодрить. Да и совпадение ли? Наверняка старый генерал позаботился, чтобы все трое выкинули по две шестерки! И ясно, зачем он так распорядился, тут даже трудно придумать что-то другое: дал понять, что никто из обвиняемых не крал его перстня.

Когда вывели осужденных, по толпе, как порыв ветра, пронесся многоголосый вдох. Женщины плакали, мужчины сжимали кулаки. Тут и там рассуждали вполголоса, что ничего хорошего Бру не ожидает – уезд будет сметен с лица земли, уничтожен, как Иерусалим. Нельзя

безнаказанно казнить невинных людей. Многие старались утешить прощающихся с жизнью несчастных, другие выкрикивали угрозы и насмешки в адрес палачей. Особенно доставалось ротмистру Лёвеншёльду – поговаривали, что именно он приложил руку к такому людоедскому толкованию жребия.

Может, именно это и помогло Марит пережить тот день. Да и не только тот день. Если бы хоть кто-то усомнился, дал бы понять, что считает ее дочерью и невестой воров и убийц, она бы не выдержала.

Пауль Элиассон первым ступил на дощатый настил под виселицей. Он встал на колени, помолился, повернулся к пастору и о чем-то его попросил. Пастор кивнул и снял с головы Пауля вязаную шапку. Когда все было кончено, пастор передал шапку Марит – дескать, Пауль хотел, чтобы ты знала: прощаясь с жизнью, он думал о тебе.

И она ни за что бы не поверила, если бы ей сказали, что Пауль знал. Что именно потому и передал шапочку Марит – знал, что в ней зашит перстень, содранный с пальца грозного мертвеца.

Марит повертела шапочку в руках. Где он ее взял? Она точно помнит: она ее не вязала, и никто другой в усадьбе. Должно быть, купил на ярмарке. Или выменял.

Внимательно рассмотрела узор. Красивая была шапочка. Яркая. Пауль вообще любил яркую одежду, всегда ворчал, когда ему шили из некрашеного домотканого сукна или вязали что-то серое. И шапочки – лучше всего ярко-красные, с помпоном и кисточкой. Эта-то шапка ему наверняка пришлась по вкусу.

Марит положила шапочку на ступеньку и закрыла глаза. Только с закрытыми глазами можно заглянуть в прошлое.

Она представила себя в лесу в то проклятое утро, когда перепуганного Ингильберта хватил удар. Ее там не было, но она все же попыталась вообразить всю картину. Вот отец, дядя и Пауль склонились над трупом. Старшие решили отнести тело в село – значит, пошли рубить сучья для носилок. А Пауль задержался – его внимание привлекла шапочка Ингильберта. Наверняка смотрел на нее как замороженный – красно-бело-синяя, затейливой вязки. И скорее всего, не удержался – взял шапочку себе, а свою нахлобучил на покойника. Ничего плохого в виду не имел, так, решил примерить. И наверняка вернул бы шапочку – его собственная не хуже, хотя не такая многоцветная и, надо признаться, не так искусно связана... А Ингильберт, оказывается, зашил перстень в шапочку. Наверное, боялся, что за ним погонятся, – а кому придет в голову искать перстень в шапке? Никому. И меньше всего Паулю Элиассону.

А тут подоспел ротмистр со своими людьми, и он не успел поменяться шапочками с мертвым Ингильбертом.

Наверняка так и было. Ничего другого в голову не пришло. Она могла бы поклясться – так оно и было. Но проверить не мешает.

Марит отнесла перстень в сундучок и с шапочкой в руках пошла на скотный двор – поговорить со служанкой.

Открыла дверь коровника.

– Выходи на свет божий, Мерта, – крикнула в темноту. – Помоги, у меня ничего не получается.

Служанка, вытирая руки, подошла к выходу.

Марит протянула ей шапочку:

– Ты же отменная вязальщица. Посмотри – хочу перенять этот узор, а никак не пойму, как петли считать. Может, ты разберешься?

Служанка взяла шапочку и сказала вот что:

– Ой...

На лице изобразилось изумление. Она вышла из коровника на свет и еще раз посмотрела на шапочку.

– Где ты ее взяла?

– Не знаю... Бог весть сколько лет пролежала у меня в сундуке. А почему ты спрашиваешь?

– А спрашиваю я вот почему: шапочку-то эту я сама связала, вот этими руками. Для братика Ингильберта, в последнее... – она всхлипнула, – в последнее лето его жизни. Он в ней и ушел из дому, и с тех пор я ее не видела. Но как она оказалась у тебя?

– Кто знает... может, свалилась, когда он упал, а кто-то из пастухов подобрал и принес в усадьбу. Но тебе, наверное, не захочется с ней возиться. Такие воспоминания...

– Давай ее сюда... и завтра же получишь узор.

В голосе Мерты по-прежнему звенели слезы.

– Нет-нет. – Марит отвела руку. – Это мучительно...

– Ничто мне не мучительно, если это твоя просьба, Марит.

Да-да, никто другой, именно Марит вспомнила про Мерту Бордсдоттер, оставшуюся в полном одиночестве в хижине на лесном выпасе после смерти отца и брата. Вспомнила и предложила ей работу скотницы в усадьбе Стургорден в Ольсбю. Мерта считала, что всем обязана Марит – та помогла ей вернуться к людям.

Марит вернулась на крыльцо и взялась было за варежки, но работа не шла. Вновь прислонилась к баясине и задумалась – что теперь делать? Если бы кто-то в Ольсбю видел монахинь, женщин, оставивших земную суету ради жизни в монастыре, он мог бы подтвердить: Марит выглядела именно так, как выглядят монахини. На изжелта-бледном, словно восковом, лице ни единой морщины. И если не знать, сколько ей лет, не определить, молодая она или старая. Отрешенность и покой. Покой, доступный только человеку, полностью отказавшемуся от мирских желаний. Давно уже никто не видел, как она чему-то радуется. С другой стороны, сильно опечаленной ее тоже не видел никто.

В тот роковой день Марит решила: жизнь ее кончена. Она, конечно, унаследовала от отца Стургорден, но очень быстро поняла: единственная возможность сохранить усадьбу – выйти замуж. Хозяйству нужен хозяин. Но после смерти Пауля даже мысль о замужестве бросала ее в дрожь. Тогда она переписала Стургорден на одного из племянников, совершенно безвозмездно, но с одним условием: она сохраняет за собой право жить в усадьбе до конца жизни.

С тех пор уже тридцать лет она жила в этом небольшом, но крепком деревянном домике на сваях – и ни разу о своем решении не пожалела. Конечно, время без работы тянется медленно, но как раз работа-то у нее находилась все время. Люди постоянно обращались за помощью – все знали ее мудрость и доброту, и если кто-то заболел, первым делом посылали за Марит. Вокруг нее постоянно роились малыши. Они знали, кто поможет им справиться с их маленькими горестями. Ее домик всегда был полон детей.

А сейчас она сидела, размышляла, и сердце ее постепенно переполнялось гневом и горечью. Подумать только – как легко было найти этот проклятый перстень! Почему генерал не сделал так, чтобы его нашли? Кольцо вернули бы в могилу, все прояснилось, и все были бы живы. Он же наверняка знал, где его перстень. И почему он не навел судей на мысль хотя бы пощупать шапочку Ингильберта? А вместо этого лишились жизни три достойнейших человека. Значит, отправить их на виселицу генералу было по силам, а найти перстень слабо?

Сначала она решила пойти к просту, отнести ему перстень и рассказать о своей находке, но передумала.

Надо сказать, что к Марит все относились с жалостью и уважением, ее не окружала стена презрения, как бывает с семьями уличенных в преступлениях злодеев. Где бы она ни появлялась – в церкви, на свадьбах или поминках, – люди всегда находили возможность с ней поговорить. Все понимали: совершена ужасная несправедливость. Жители уезда хотели загладить свою вину, откреститься от причастности к неправому суду. Даже те, из Хедебю, – положим,

не сам ротмистр, но его жена и сноха – не раз пытались сблизиться с Марит, но она отвергала эти попытки. За тридцать лет не обменялась с Лёвеншёльдами ни единым словом.

И что будет, если она вылезет с признанием? Получается, что люди из Хедебю в какой-то степени правы? Перстень же и в самом деле был у одного из казненных. Могут пойти разговоры: дескать, те трое прекрасно знали, где перстень, и молчали – надеялись на оправдательный приговор. Думали, их выпустят, и они спокойно продадут этот перстень.

Как ни поверни, если она возвратит перстень, значит, ротмистр прав. И его покойный отец тоже. Перстень же и в самом деле был у приемного сына Иварссонов. Поди докажи, что Пауль и знать не знал, что он зашит в его шапочке.

Ну нет. Ничего, что пошло бы на пользу Лёвеншёльдам, Марит делать не собиралась.

А ротмистру Лёвеншёльду к этому времени уже исполнилось восемьдесят. Богатый, уважаемый и могущественный помещик. Король дал ему титул барона. И все эти годы он прожил безбедно, неудачи и несчастья его обходили. И сыновья тоже – богатые, удачно женатые... эти люди отняли у Марит все. Все, все, все.

И вот она сидит тут, на пороге своей жалкой хижины, – одинокая, нищая, ни мужа, ни детей. И все из-за ротмистра. Все эти годы ждала она, что на голову его обрушится кара Божья – и не дождалась.

Марит словно очнулась – из задумчивости ее вывел топот детских ножек.

Двое мальчишек, лет по десять-одиннадцать. Один – Нильс, сын хозяина, ее внучатый племянник, а другого она не знала.

– Тетя Марит, это Адриан из Хедебю. Мы играли в триссу<sup>7</sup>, повздорили, и я порвал Адриану шапку. Нечаянно.

Марит, борясь с нахлынувшей изнутри мутной волной неприязни, посмотрела на Адриана. Красивый мальчуган. Доброе, приветливое лицо. И что? Ей всегда становилось не по себе, когда она видела кого-то из Лёвеншёльдов.

– Мы уже помирились, – сообщил Нильс. – Я только хотел попросить тебя починить шапочку Адриану. Как он домой пойдет?

– Хорошо. Починю.

Марит взяла порванную шапочку и встала со ступенек.

– Знак Божий, – пробормотала она про себя, направилась в дом, но на пороге обернулась: – Поиграйте пока во дворе. Скоро будет готово.

Марит закрыла за собой дверь и осталась одна. Теперь ей никто не мешал, и она взялась зашивать порванную шапочку Адриана.

## IX

Прошло еще несколько лет, а перстень так и не давал о себе знать.

В тысяча семьсот восемьдесят восьмом году молодая девушка по имени Мальвина Спаак нанялась в Хедебю домоправительницей и экономкой. Дочь пастора из Сёрмланда, она никогда раньше в Вермланде не была и понятия не имела ни о местных обычаях, ни о людях, на которых ей предстояло работать.

В первый же день хозяйка имения огорошила ее необычным признанием.

– Лучше всего не тянуть, – сказала она. – Я должна предупредить фрекен, что в нашем доме появляется привидение. И не так уж редко. – Она жестом остановила вздрогнувшую Мальвину Спаак. – Его можно встретить на лестницах, в коридорах... иногда даже в комнатах. Огромный, могучий мужчина в высоких ботфортах и синем каролинском камзоле. Появляется

---

<sup>7</sup> Подвижная игра, где нужно отбить битой сильно пушенный деревянный диск.

внезапно и так же внезапно исчезает, не успеешь с ним заговорить. Не пугайтесь, фрекен, если вы его встретите. Он совершенно безвреден. Более того, думаю, он желает нам добра.

Фрекен Спаак только что исполнился двадцать один год. Тоненькая, быстрая и ловкая, при этом энергичная, знающая и удачливая во всем, за что бы ни взялась. Это было не первое ее место работы, и надо сказать, что как только она появлялась в каком-нибудь поместье, сложный механизм большого хозяйства начинал работать как часы.

Но! Мальвина Спаак ни за что бы не устроилась в Хедебю, если бы хоть краем уха слышала о привидениях – она их боялась ужасно. А теперь дело сделано, карты розданы. Она уже здесь, а бедной девушке не пристало быть чересчур разборчивой. Мальвина сделала книксен, поблагодарила за предупреждение и уверила хозяйку, что ни за что не позволит себя напугать.

– Я не из пугливых, – сказала она, втайне надеясь, что хозяйка не заметит, как дрогнул ее голос.

Хозяйка не заметила.

– Да-да, молодец... но мы ведь даже не знаем причины, почему этому призраку вздумалось бродить по усадьбе. Как две капли воды похож на деда моего мужа, генерала Лёвеншёльда, вы наверняка видели его портрет в салоне. Дочери даже и называют его попросту: генерал. «Я сегодня опять видела генерала» – и смеются. Но фрекен, надеюсь, понимает... генерал был достойнейшим человеком, и с чего бы ему... нет, вряд ли. Короче, мы и сами мало что понимаем. Надеюсь, у фрекен достаточно здравого смысла, чтобы не прислушиваться к болтовне прислуги.

Мальвина Спаак решила, что лишний книксен не помешает. Изящно склонилась, заверила хозяйку, что никогда не допустит сплетен, и в душе улыбнулась: легче остановить наводнение или потушить лесной пожар, чем запретить прислуге перемывать кости хозяевам.

На том разговор и закончился.

Конечно, фрекен Спаак была всего лишь бедной экономкой, но происходила из очень достойной семьи. Поэтому, как и гувернер и домашний учитель, была допущена к господскому столу. К тому же она просто-напросто украшала стол. Фрекен Спаак была очень миловидна, приятно посмотреть: тонкая, изящная, светлые волосы, нежный румянец. Добавьте к этому добрый, приветливый характер, трудолюбие и деловитость – стоит ли удивляться, что в усадьбе ее полюбили.

За столом только и говорили о привидении. О том самом привидении, о котором рассказывала баронесса Лёвеншёльд. То девушки, то еще кто-то внезапно сообщал:

– Сегодня я опять видела генерала.

Нашли чем хвастаться...

Дня не проходило, чтобы кто-то ее не спросил: а вам еще не пришлось повидаться с нашим генералом? И когда она отрицательно качала головой, пожимали плечами, словно уличили в чем-то недостойном. Словно она из-за этого стала хуже. Или меньше значила, чем, скажем, гувернер или учитель – те-то без конца встречались с привидением.

Нельзя сказать, чтобы эти разговоры ее не трогали. Как раз наоборот: ее очень пугали фамильярные отношения между обитателями усадьбы и привидением. Она почему-то ясно чувствовала: к добру эта фривольность не приведет. Если вдуматься: существо из другого мира наверняка глубоко несчастное. Оно и появляется только потому, что ищет помощи. Чтобы обрести покой в своей могиле, ему нужна помощь живых.

Мальвина Спаак была девушка решительная, и, будь ее воля, она бы докопалась до причин. Но в одном она была твердо уверена: привидение в доме – вовсе не повод для застольных шуток.

Но молчала. Молчала, потому что понимала: одно неодобрительное замечание по поводу неуместной веселости господ – и она может лишиться места. Единственное, что она могла

себе позволить, – не принимать участия в разговорах о призраках и держать свои тягостные предчувствия при себе.

Прошло не меньше месяца, прежде чем она в первый раз повстречалась с привидением.

Пошла утром на чердак отобрать белье для прачки, а по дороге назад встретила на лестнице незнакомого мужчину. Он вежливо посторонился и дал ей пройти. Дело было среди бела дня, и у нее даже мысли не возникло о каких-то привидениях. Разве что удивилась – что делать незнакомцу у них на чердаке? Повернулась, хотела спросить – а его и след простыл. Неужели вор? Она взлетела по лестнице, вернулась на чердак, обыскала все темные углы, чуланы, рабочий кабинет – пусто. И только тут до нее дошло.

– Какая я балда! Это же был генерал!

Конечно же, конечно! Синий каролинский камзол, точно такой, как на портрете, огромные ботфорты... но самое удивительное: она никак не могла вспомнить лицо призрака. Костюм и все остальное помнила ясно, а лицо... лицо будто окутывал туман, вспоминалось только серое, полупрозрачное пятно.

У нее подкосились ноги. Начал бить озноб, зубы стучали, она никак не могла успокоиться. Только мысль, что ей надо организовать обед, заставила фрекен Спаак преодолеть себя и спуститься с чердака. И сразу решила: никому ни слова. Это не предмет для шуток.

Но мысль о генерале не выходила из головы. Она совершенно не умела скрывать свои чувства, и не успели сесть за стол, девятнадцатилетний сын хозяйки, только что приехавший на Рождество из Упсалы, внимательно на нее посмотрел и уверенно сказал:

– Сегодня фрекен Спаак видела генерала.

Фрекен Спаак совершенно не умела врать – покраснела, что-то пробормотала и, конечно, привлекла к себе всеобщее внимание. Посыпались вопросы. Она отвечала сбивчиво и коротко. И, к несчастью, не могла скрыть, что испугалась до полусмерти, хоть и задним числом. Над ней тут же начали подшучивать – надо же! Испугалась генерала! Он же совершенно безобидный.

Фрекен Спаак давно заметила, что и барон, и баронесса от шуток на эту тему воздерживаются. Предоставляют молодежи состязаться в остроумии, но сами – ни слова. И молодой студент из Упсалы тоже отнесся к ее рассказу серьезно.

– Я могу только позавидовать всем, кто видел генерала. Мне бы очень хотелось ему помочь, но мне он не показывается...

Он сказал это так искренне и с таким неподдельным сочувствием, что фрекен Спаак мысленно попросила Господа, чтобы желание этого доброго юноши исполнилось. А вдруг юный барон и в самом деле как-то поможет несчастному генералу вернуться в могилу.

После этого разговора генерал уделял фрекен Спаак все больше и больше внимания. Он являлся ей очень часто, но всегда на секунду-две, не больше. То на лестнице, то в сенях, то в темном углу кухни. Она почти к нему привыкла, но побороть страх все равно не могла.

Никаких закономерностей его внезапных появлений вывести не удалось. Одно из возможных объяснений, которое, впрочем, ничем не подтверждалось: у Мальвины Спаак то и дело возникало ощущение, что в доме есть что-то, что особенно привлекает несчастное привидение. Но ощущение и есть ощущение, не более того: как только генерал понимал, что его заметили, тут же исчезал. Как падающая звезда: говорят, если успеть загадать желание, непременно сбудется. Но поди успеешь загадать!

И хотя баронесса в первый же день сказала, что привидение вряд ли имеет отношение к старому генералу Бенгту Лёвеншёльду, все остальные были твердо уверены: именно генерал. И никто иной.

– Ему скучно в могиле, – говорили девушки. – Конечно, скучно! Король подарил ему это поместье, а он там лежит и знать не знает, что тут происходит в его отсутствие. Надо проверить. Не отказывать же ему в этом невинном удовольствии!

А фрекен Спаак после каждой встречи с призраком пряталась в кладовке, чтобы прислуга не видела, как она трясется от страха. Наверняка начали бы хихикать за спиной. Она была бы очень благодарна генералу, если бы тот хоть немного умерил свой интерес к Хедебю, и в то же время понимала: семье Лёвеншёльдов, как ни странно, скорее всего, будет не хватать безвредного и даже уютного привидения.

Как-то раз сидели в обеденном зале. Зимние вечера тянутся долго. Темы для разговоров кончились, свечи догорели, прядильный станок замолк, кто-то задремал над книгой. И вдруг одна из девушек отчаянно закричала – увидела лицо в окне. Кто-то подсматривал из сада. Вернее, лица она толком не разглядела – только два ряда светящихся, будто намазанных фосфором, зубов.

Конечно, тут же зажгли свечи, побежали с фонарем искать нарушителя спокойствия. Никого, разумеется, не нашли. Вернулись домой, на всякий случай задвинули шпингалеты на окнах. Что еще оставалось, кроме как понимающе пожать плечами.

– Генерал. Больше некому.

Но уже поменяли свечи, зажгли фонари. Сон как рукой сдуло, заработала прялка, пошли разговоры.

В доме никто не сомневался – по ночам, когда в обеденном зале никого нет, там хозяйничает генерал. И если бы кто-то решился открыть дверь, тут же бы на него и наткнулся. Но никто не открывал. Во-первых, не решался, а главное – почему бы не дать заслуженному предку провести ночь в тепле и уюте?

Постепенно выяснилось, что генерал не терпит беспорядка. Каждый вечер, заканчивая работу, следили, чтобы все было тщательно прибрано. Каждый вечер фрекен Мальвина наблюдала, как баронесса и девушки аккуратно складывают свою работу. Прялки и пяльцы для вышивания выносили в соседнюю комнату. Даже обрывков ниток на полу не должно остаться.

Спальня фрекен Спаак была рядом с залом, и как-то ночью она услышала, как там что-то с глухим стуком ударило в стенку, у которой стояла ее кровать, и упало на пол. Потом все повторилось, а потом еще дважды.

– Боже ты мой... – прошептала она дрожащими губами. – Что он там вытворяет?

Она прекрасно знала, кто затевает эти ночные игры. *Он*. Не самое приятное соседство.

Девушка не спала всю ночь – боялась, что генерал ворвется в спальню и начнет ее душить.

Рано утром она зашла за поварихой и еще одной девушкой из прислуги, и они пошли выяснять причину ночного шума. В зале все стояло на своих местах, только на полу лежали четыре яблока.

Ай-ай-ай, ее вина! Накануне они грызли яблоки и оставили блюдо на каминной полке. Оставалось четыре яблока, ими-то генерал и бомбил стену.

Ну что ж, винить некого – недосмотр стоил ей бессонной ночи.

Но при всем при этом фрекен Спаак никогда не забывала об оказанной ей генералом бесценной услуге.

Дело было так. В Хедебю давали званый обед. Пригласили множество гостей. Мальвина Спаак сбилась с ног – за всем надо приглядеть. Филе на вертелах, профитроли и паштеты в духовке, кастрюли с бульоном и соусами на плите. И это не все – проследить за сервировкой, принять от хозяйки серебро по счету, позаботиться, чтобы принесли пиво и подходящее вино из погреба, чтобы свечи в люстрах не покосились... а помимо хлопот еще и неудобство: кухня в Хедебю помещалась во флигеле, так что пришлось бесчисленное количество раз бегать туда-обратно. Прибавьте к этому неопытную прислугу... ясно, что надо иметь быстрые ноги и не меньше семи пятей во лбу, чтобы не растеряться в этом хаосе.

Но она справилась. Хрустальные бокалы сияли, паштеты были выше всяких похвал: она проследила, чтобы кухарки не смолотли туда требуху, как они обычно делали. Пиво пенилось, бульон идеально приправлен специями, кофе – как в лучших городских кофейнях.

Экономка и домоправительница Спаак получила заслуженную похвалу – баронесса сказала, что лучше и быть не могло.

Но тут случилось ужасное. Мальвина Спаак собрала серебро, чтобы отнести хозяйке, и обнаружилось, что не хватает двух ложечек – столовой и чайной.

Начался переполох. Что может быть страшнее? В усадьбах того времени ничего страшнее быть не могло. Пропажа столового серебра! Все подозревают всех, сваливают друг на друга, и вовсе не обязательно, что кто-то и в самом деле эти ложечки украл. Вспомнили: в день приема в кухню заходила какая-то бродяжка, попрошайка. Ее накормили, и она ушла. Уже собирались ехать в финские леса ее искать. Хозяйка подозревает экономку, экономка – кухарку, кухарка – служанок, а служанки – друг друга и весь белый свет. Девушки ходят с заплаканными глазами – им кажется, что все косятся именно на них, уверены, что именно они взяли эти проклятые ложки.

Искали два дня и ничего не нашли. Мальвина даже пошла в свинарник, посмотрела в корытах – мало ли что? Конечно же ничего не нашла. Потихоньку, сгорая от стыда, перерыла сундучки служанок на чердаке. Все напрасно. Где еще искать? У нее опустились руки. Фрекен Спаак была уверена: все думают на нее, считают, что именно она украла ложки. Она же недавно в доме, все остальные друг друга знают годами. И Мальвина не сомневалась: если она не попросит расчет, ее все равно уволят.

Она стояла у плиты и плакала. Слезы с шипением падали на раскаленный чугун и мгновенно исчезали, будто их и не было. И вдруг ей показалось, что за спиной у нее кто-то стоит. Резко повернулась – генерал. Он молча показал на верхнюю полку в буфете, такую неудобную, что никому и в голову не пришло бы туда что-то положить. Принесла из кладовки стремянку, поднялась на несколько ступенек, сунула, не глядя, руку и достала старую грязную тряпку. В нее были завернуты обе ложечки.

Как они туда попали? Безусловно, никто их намеренно туда не клал. Когда в доме такая суматоха, все может случиться. Попалась кому-то под руку грязная тряпка, вот и закинули куда подальше, чтобы не мешалась под руками и вида не портила. И не заметили, что в нее, в эту поганую тряпку, завернуты ложечки.

Но они все же нашлись! И счастливая фрекен Спаак отнесла их баронессе и вновь стала желанным членом большой семьи, как любила говорить хозяйка. Опять стала, по ее же выражению, правой рукой и главной опорой.

Нет худа без добра. Весной опять приехал молодой барон Адриан. Он услышал невероятную историю, как генерал помог молодой экономке Мальвине Спаак найти пропавшие ложки, и стал оказывать ей знаки внимания. Нет, пожалуй, так говорить неверно. Он не оказывал «знаки внимания» в привычном понимании, он, скорее, искал ее общества. То спросит, нет ли запаса лески из конского волоса для рыбалки, а если нет, то где найти мастера, который может эту леску сплести, то появится в кухне и улыбнется: «А чем так вкусно пахнет?» Впрочем, пахло и в самом деле вкусно – свежее испеченными семлами<sup>8</sup>. И всегда заговаривал о чем-то сверхъестественном. Допустим, спрашивал: как там с привидениями у вас в Сёрмланде – действуют? Ну вы знаете, Белая Дама<sup>9</sup>, хозяйка Пинторпа<sup>10</sup>. Что фрекен думает по этому поводу?

---

<sup>8</sup> Семла – сдобная булка с начинкой из взбитых сливок с ванилью и сахаром

<sup>9</sup> Собираемый образ привидений в замках. Как правило, девушка, которая потеряла возлюбленного и умерла от горя.

<sup>10</sup> Жестокая хозяйка замка Эриксберг, издевавшаяся над слугами и арендаторами и доводившая их до безумия. Ее привидение многие столетия появлялось в замке.

Но чаще всего заводил речь о генерале. Ему не хотелось говорить с другими на эту тему, для них генерал – предмет для шуток, не более того. А молодому барону было искренне жаль бедное привидение, он очень хотел бы ему помочь, только не знает как.

И фрекен Спаак тоже очень жалела генерала. Она поделилась с Адрианом своими ощущениями: ей кажется, генерал что-то ищет в усадьбе. Ищет и не может найти.

Молодой барон слегка побледнел и уставился на девушку:

– *Ma foi*<sup>11</sup>, фрекен Спарк, *ma foi*... очень может быть. Мне и в голову не приходило... Прекрасная мысль. Но позвольте вас заверить: если у нас и есть что-то, что интересует генерала, мы отдадим ему это что-то без малейших сомнений.

Мальвина Спаак сообразила: его интересует только история с привидением и ничего больше – и почувствовала укол обиды: такой любезный, мало того, такой красивый юноша! И мало того что любезный и красивый, наверняка умница. Чуть склоненная голова – наверное, все время о чем-то думает. Но и не чересчур серьезный. Могло, конечно, показаться, что чересчур серьезный, но только тому, кто мало его знал. Он так заразительно смеялся, так весело откидывал свою задумчивую голову и придумывал такие развлечения и проказы, до которых другим – как до луны. За что бы он ни брался, все в нем было полно очарования: жесты, голос, веселая и в то же время застенчивая улыбка.

Как-то в летний воскресный день Мальвина Спаак возвращалась из церкви. Решила сократить путь и пошла по маленькой тропинке, пересекавшей пасторскую усадьбу. Оказывается, не она одна выбрала короткую дорогу. По пути обогнала несколько человек, среди них пожилую женщину – та шла совсем уж медленно. Обогнала, увидела ветхие ступеньки через жердевый забор, тут же вспомнила про эту женщину и решила подождать – той наверняка будет трудно одолеть эту преграду. Такова уж была фрекен Мальвина Спаак – она всегда думала сначала о других и только потом о себе.

Она подождала незнакомку, протянула ей руку и с удивлением обнаружила, что та вовсе не так стара, как ей показалось поначалу. Необычно гладкая, белая кожа – наверняка не больше пятидесяти. Одета как крестьянка, но что-то в ней необычное. Мальвина быстро сообразила, что именно. Редкое в простолюдинах достоинство... как будто она пережила что-то, что возвышает ее над обычными людьми.

Мальвина помогла ей перелезть через невысокий забор из жердей, и они пошли рядом по узкой тропинке.

– Мне кажется, я знаю, кто вы. Вы новая домоправительница в Хедебю, – не то определила, не то спросила женщина.

– Да, вы правы.

– Позвольте спросить – довольны ли вы местом?

– А почему я должна быть недовольна? Замечательное место.

– Люди поговаривают, привидения в доме поселились.

– Мало ли что люди говорят... – Фрекен Спаак постаралась, чтобы слова ее прозвучали назидательно. – Всему верить нельзя.

– Это да, – согласилась ее спутница. – Это правильно. Всему верить нельзя... Уж что-то, а это-то я знаю...

Они помолчали. У этой женщины был такой загадочный вид, что фрекен Спаак просто горела желанием порасспрашивать ее – какие такие секреты она знает? И что ей известно про привидение из Хедебю? Но язык почему-то не поворачивался.

И правильно, не говорят с первым встречным на такие темы.

Возобновила разговор новая знакомая:

---

<sup>11</sup> Клянусь честью (*фр.*).

– Вы, как мне кажется, очень добрая и славная девушка, поэтому хочу дать вам совет. Не задерживайтесь в Хедебю. Нехорошее место... Этот... тот, кто там ходит... ничего хорошего от него не жди...

Фрекен Спаак собралась было холодно поблагодарить за совет, но ее остановила следующая фраза:

– Он не отступится, пока своего не получит.

Эти слова были как спичка, поднесенная к пучку сухой соломы.

– А что он хочет получить?

– А-а-а... так вы еще не знаете? А может, для вас и лучше ничего не знать.

Крестьянка пожала ей руку, поблагодарила за помощь, свернула на боковую тропинку и вскоре скрылась из виду.

Фрекен Спаак умолчала за столом о странной встрече, но вечером, когда в молочную зашел Адриан, не удержалась и рассказала ему про таинственную незнакомку.

Он очень удивился.

– Это же наверняка Марит Эрикسدоттер из Ольсбю. А знаете, фрекен, вы совершили подвиг. Она впервые за много-много лет, наверняка больше тридцати, заговорила с человеком из Хедебю. Несколько лет назад я играл с мальчишкой, каким-то ее родственником, он нечаянно порвал мою шапочку, и она взялась ее зашить. Но вид у нее был такой, будто она хочет не зашить, а разорвать на части... нет, не шапочку, а меня самого.

– А что, если она знает, что ищет генерал?

– Если кто и знает, так это она. Но и я тоже знаю. Отец рассказывал, хотя просил не говорить сестрам. Не надо, еще перепугаются и не захотят здесь жить. И вам я тоже не стану рассказывать. По той же причине.

– Боже сохрани! Раз барон запретил...

– Мне очень жаль, – перебил ее Адриан. – Я хотел бы вам рассказать... и знаете, почему? Мне кажется, вы могли бы мне помочь. Он это заслужил.

– Кто?

– Генерал, конечно. Ему пора обрести покой. Я его не боюсь. Если он поманит меня, я пойду за ним. Но почему он никогда мне не показывается? Все его видели, а я – ни разу.

## Х

Если бы не белая июньская ночь за окном, если бы не открытое окно, молодой барон Адриан ни за что бы не увидел гостя. Он проснулся в своей угловой мансарде на чердачном этаже от тихого скрипа. Дверь медленно приоткрылась. Сквозняк, решил он, и уже закрыл было глаза – и увидел, как в дверном проеме появилась темная фигура.

Пожилой человек в кавалерийской форме едва ли не прошлого века. Расстегнутый камзол, кожаный колет, ботфорты выше колен. Длинный кавалерийский палаш незнакомец немного приподнял и сунул палец между клинком и ножнами – очевидно, опасался, что тот начнет гроыхать.

Это же генерал! – разволновался Адриан. Замечательно! Наконец-то генерал увидит человека, который его не боится.

Все, кому случалось повидаться с привидением, рассказывали: стоит на него пристально посмотреть, оно исчезает. Но не на этот раз. Генерал никуда не исчез. Он так и стоял в дверях, а когда убедился, что Адриан проснулся и смотрит на него, медленно поднял свободную руку и поманил к себе.

Адриана словно пружина подбросила. Он сел в постели.

«Сейчас или никогда, – подумал он. – Ему, наверное, нужна моя помощь, и я ему помогу».

Наверняка читатель помнит: молодой барон ждал этого мгновения много лет. Готовился, представлял встречу с прадедом в лицах, убеждал себя, что бояться ему нечего.

Нельзя терять время. А вдруг генерал исчезнет, как всегда исчезает при встрече с людьми?

Адриан поспешил встать. Не одеваясь, завернулся в простыню и уже почти подошел к двери, но остановился и отпрянул. Стоит ли вот так, бездумно, доверяться созданию из другого, непостижимого для нас мира? Не опасно ли?

И вдруг генерал сунул свой палаш в ножны и протянул к нему обе руки; этот жест можно описать только одним словом – умоляющий. Генерал умолял его о чем-то.

«Что за глупости, – подумал Адриан. – Чего мне бояться?»

И пошел за генералом.

Призрак задом двинулся по узкой галерее, не спуская глаз с Адриана, будто боялся потерять его из виду. Адриан перешагнул порог спальни и вновь почувствовал тошнотворную судорогу страха – сквозь синий камзол генерала смутно, но узнаваемо просвечивали темные дубовые балясины. Он остановился.

«Захлопни дверь и возвращайся в постель, – прошипел голос разума. – И поскорее».

Только сейчас до него дошло: он переоценил собственную храбрость. С чего он решил, что он один из тех, кому дано безнаказанно заглянуть в иной мир? Мир, полный тайн, не открывшихся до сих пор никому из живущих?

Но бесшабашное бесстрашие если и покинуло его, то не окончательно. Совершенно ясно, что генерал не собирается ему навредить. Он хочет показать, где спрятан его перстень. Что же еще? Сам он не может его взять, он же прозрачен, даже бесплотен, вот и решил попросить правнука о помощи. Продержаться еще пару минут, не дать стрекача – и он, Адриан, сделает то, о чем мечтал едва ли не всю жизнь: вернет усталому воину мир и покой.

Генерал остановился у мансардной лестницы, он дожидался Адриана. Здесь было темней, чем в спальне, но молодой барон все равно ясно различал полупрозрачную фигуру. Руки по-прежнему сложены в просительном, едва ли не молитвенном жесте.

Он заставил себя сдвинуться с места.

Генерал убедился, что юноша следует за ним, и начал спускаться по лестнице. Он так и шел задом наперед, не спуская глаз с Адриана, и останавливался чуть ли не на каждой ступеньке, словно хотел убедиться, что юноша не струсил и идет за ним. Несгибаемая воля старого воина тянула Адриана за собой, как коня на аркане.

Они шли очень медленно, то и дело останавливаясь. Адриану было очень страшно, но он заставлял себя идти. Вспоминал, как хвастался сестрам: уж если я встречу генерала, я-то уж не побоюсь, пойду за ним, уж я-то... как же так, меня с детства влекло к тайнам жизни! Познать непознаваемое, проникнуть в наглухо закрытый для человека мир. И вот подвернулся случай, а я трушу. Ну нет. Прделаю путь до конца, и будь что будет.

Но слишком близко подходить к генералу Адриан все же опасался, держался на расстоянии. Небольшом, пара локтей, но все же на расстоянии. Генерал уже спустился, а Адриан все еще был на середине лестницы. Призрак, по-прежнему задом наперед, пошел к сеним.

И тут Адриан остановился. Совсем рядом с лестницей темнела дубовая дверь в спальню родителей. Он положил ладонь на ручку. Отворить? Нет... холодная медная ручка показалась ему теплой. Если бы мать с отцом только знали, в чьем обществе он бродит по ночному дому! Сейчас бы броситься в объятия матери... и Адриан понял: если он отпустит эту спасительную ручку, ему уже ничто не поможет.

В эту секунду генерал открыл наружную дверь, и комнату залило томительным светом белой северной ночи. На мансардном этаже и в гостиной было довольно темно, там он еле различал колеблющуюся в полумраке фигуру, а сейчас впервые ясно увидел генерала.

И с ужасом понял: нет, это не безобидная полупрозрачная копия парадного портрета. Перед ним стоял мертвец в истлевшей одежде. К голому черепу прилипли пряди волос, отчетливо пахло сырým могильным смрадом.

Ухнуло и застонало что-то за перелеском, наверняка на кладбище, и Адриану померещилось, что в этом мучительном стоне он явственно различил:

– Отда-а-а-й...

К нему потянулась костлявая, без кожи и мускулов рука с непрерывно шевелящимися косточками пальцев. Повеяло знакомым каждому похоронным запахом, когда душный аромат лилий и калл смешивается с запахом разлагающейся плоти. Но самое страшное, отчего у Адриана мгновенно заледенела душа, – чудом удерживающиеся в глазницах глаза. Они сверкали злобной яростью, а челюсти с хищно фосфоресцирующими зубами исказила жуткая победная ухмылка.

Все мы не раз подмечали выражение подобных чувств у людей, но увидеть такое на лице мертвеца... Мы представляем себе царство мертвых как сонное царство, обитель неподвижности и умиротворения, даже повторяем формулу «мир и покой праху твоему». Это пожелание искренне, мы и в самом деле желаем нашим мертвым мира и покоя, заранее отказывая им в чувствах и желаниях.

Но на лице генерала, упорно отказывающегося покинуть царство живых, Адриан прочитал только одно: этот жуткий мертвец, этот злой дух покоя не хочет. Он хочет отомстить, и отомстить не кому-то, а ему, Адриану.

Его охватил такой ужас, какого он не испытывал ни разу в жизни. Он рванул на себя дверь родительской спальни, отчаянно закричал: «Генерал!» – и упал замертво.

\* \* \*

Я и сейчас с трудом пишу эти строки, потому что они мне кажутся бессмысленными. Все то, что я вам пересказала, я впервые услышала в сумерках, у камина. До сих пор вспоминаю спокойный, убедительный голос рассказчика, и по спине бегут мурашки. Начинает бить дрожь, но вот что удивительно: не только от страха.

Это дрожь ожидания.

Ожидания чего? Возможно, чуда. Потому что рассказ словно бы приподнимал краешек завесы, скрывающей непостижимое. И какое странное чувство оставалось – будто на ваших глазах приоткрывается дверь в никуда и оттуда, из вечной тьмы, вот-вот кто-то появится...

Но насколько она правдива, эта история? Ее передавали из поколения в поколение, каждый рассказчик наверняка добавлял что-то от себя, что-то упускал, но хоть крупница, хоть маленькое зернышко правды-то в ней есть?

Призрак бродит по богатой усадьбе Хедебю, показывается то одному, то другому, помогает найти потерянные вещи, сам что-то ищет... кто он, этот призрак? И был ли он вообще?

Если и был, то для привидения вел себя более чем необычно. Привидения в старых замках и усадьбах – не редкость, это знают все. Но привидение в Хедебю – не обычное привидение. Чересчур уж оно материально. Никто и никогда не слышал, как привидения кидаются яблоками в стену, а фрекен Спаак слышала. Или совсем уж загадочная история – необычное привидение пригласило молодого барона Адриана следовать за ним, спустилось по лестнице и открыло входную дверь.

Но если это все правда, если... не знаю, может, кто-то из тех, кого Бог одарил способностью видеть что-то иное, мир за гранью той реальности, в которой живем мы, земные люди, – может быть, кто-то из них и сможет разгадать эту загадку.

## XI

Молодой барон Адриан лежал на огромной родительской кровати, бледный и неподвижный. Кровь еще бежала по сосудам, но почти неощутимо; надо было долго прилаживать пальцы к запястью, чтобы уловить ее слабые толчки. Он так и не пришел в сознание после перенесенного потрясения. Но жизнь еще не угасла.

В приходе Бру доктора не было. В четыре утра послали конюха в Карлстад. Туда шестьдесят километров, назад шестьдесят километров, так что даже если доктор дома и согласится поехать, раньше, чем к вечеру, ждать его не стоит. А скорее всего – день или два.

Баронесса Лёвеншёльд сидела у постели, не сводя глаз с бледного лица любимого сына. Мать была уверена: пока она на него смотрит, искра жизни не может, не должна угаснуть.

А барон никак не мог усидеть на месте. То и дело брал безвольно повисшую руку Адриана, щупал пульс, вскакивал, смотрел в окно, опять садился. Или выходил в гостиную глянуть на часы и ответить на взволнованные расспросы дочерей, гувернера и челяди.

Из домашних в спальню была допущена только Мальвина Спаак. В ее походке, голосе было что-то, что делало ее присутствие у постели больного не только желательным, но и необходимым. Настоящая сестра милосердия.

Ее разбудили крик Адриана и звук упавшего тела. Быстро, но тщательно оделась, сама не зная как, – таковы были ее жизненные правила: если не можешь привести себя в порядок, то и пользы от тебя никакой. Помогла родителям уложить Адриана на широкую супружескую кровать. Все трое поначалу думали, что Адриан мертв, но Мальвине Спаак все же удалось нащупать слабое биение пульса.

Попытались привести Адриана в чувство, но, как оказалось, малейшее прикосновение только ухудшает состояние больного. Оставалось сидеть и ждать.

Баронесса то и дело кидала на фрекен Спаак благодарные взоры: девушка была совершенно спокойна, у нее, казалось, не было ни малейших сомнений, что Адриан придет в себя. Баронесса позволила расчесать себе волосы, надеть туфли. Чтобы надеть платье, пришлось встать, но с пуговицами, тесемками и крючочками возилась экономка, а она по-прежнему неотрывно смотрела на сына.

Фрекен Спаак принесла кофе и уговорила выпить. Она то и дело бегала в кухню, приглядывала, чтобы накормили работников. Единственное, что выдавало волнение экономки, – необычная бледность. Но она ни на секунду не прекращала заниматься делами – завтрак господам был подан вовремя, пастушок, отправляясь с коровами на выгон, получил узелок с едой.

Работники засыпали ее вопросами: что случилось с молодым бароном? Она говорила все, что знала: юноша ворвался в спальню родителей, крикнул что-то про генерала, упал в обморок, и привести его в чувство пока не удается.

– Ясное дело, – пожала плечами кухонная девка, – теперь и он повстречался с генералом.

– Ясное-то ясное, да не совсем, – вмешалась горничная. – С чего бы он так мордует свою же родню?

– «С чего»... терпение потерял – вот с чего. Они только и делают, насмешничают. А ему-то перстенок нужен, это каждая собака знает.

– Да ладно... если бы перстень был здесь, в Хедебю, он бы давно дом спалил.

– Как видишь, пока не спалил. А перстенок-то точно где-то здесь. Иначе не бродил бы он тут по ночам.

Мальвина Спаак положила за правило: никогда не слушать сплетни прислуги. Но разговор ее заинтересовал, и она сделала исключение.

– Что за перстень? О чем вы говорите?

– А разве фрекен не рассказывали? – обрадовалась возможности просветить неопытную экономку все та же подручная поварихи. – Генерал же не так просто народ пугает. Он ищет свою золотую печатку.

И они наперебой со служанкой начали рассказывать всю историю: и про украденный из могилы перстень, и про жуткое судилище, стоившее жизни трем достойным людям.

Фрекен Спаак теперь была совершенно уверена: перстень в усадьбе. Он каким-то образом попал в Хедебю и здесь же и спрятан. Ее начала бить дрожь, точно так же, как тогда, когда она впервые встретилась с генералом на мансардной лестнице. Это как раз то, чего она боялась. Она и раньше чувствовала, насколько опасен этот с виду невинный призрак. А теперь пришло понимание: если генералу не вернут его перстень, молодому барону Адриану не жить.

Но еще до того, как она пришла к этому страшному выводу, решила: надо действовать. Надо сказать, фрекен Спаак решимости было не занимать, несмотря на ее миниатюрность. Заглянула в спальню, посмотрела на Адриана – никаких изменений. Вихрем взлетела по мансардной лестнице, застелила постель молодого барона – а вдруг он придет в себя, тогда придется перенести его в комнату. Потом собрала парализованных страхом гувернеров и гувернанток и рассказала им все, что узнала от прислуги.

– Помогите мне. Надо срочно искать перстень.

Никто не возражал. Гувернанты взяли на себя дом, включая кабинет в мансарде. Фрекен Спаак пошла в кухонный флигель и вовлекла в поиски всю челядь.

«Генерал появляется и в кухне не реже, чем в доме, – рассуждала фрекен Спаак. – Почему-то мне кажется, что перстень где-то здесь».

Все перевернули вверх дном, заглянули в каждый угол, на каждую полочку, вытрясли из шкафов все содержимое, осмотрели каждую тумбочку. Не забыли баночки для специй. Обшарили пекарню и пивоварню. Осмотрели со свечой даже щели в стене, а кто-то залез пальцем в мышиную норку за плинтусом.

За всей этой суетой Мальвина Спаак не забывала время от времени сбегать узнать, что с Адрианом.

В последний раз она застала баронессу плачущей.

– Ему хуже, – прорыдала она. – Мне кажется, он умирает.

Фрекен Спаак взяла безвольную руку больного и нащупала пульс.

– Нет, госпожа, не хуже, – заверила она хозяйку. – Я бы сказала, лучше.

Ох, нелегко далась ей спокойная уверенность, с которой она постаралась произнести эти слова... На самом деле ее охватило отчаяние. Страшно подумать, что будет, если они не найдут перстень. Тогда Адриан обречен.

И она на секунду потеряла самообладание. Сама не заметила, как, опустив руку юного барона на простыню, нежно погладила его пальцы. Она-то не заметила, но от внимания баронессы ее жест не ускользнул.

«*Mon dieu*, – подумала баронесса, – бедное дитя... Вот оно, оказывается, как дело-то обстоит... наверное, надо ей сказать все как есть... Не надо обнадеживать. Она не понимает: все хлопоты ни к чему. Мы его потеряем. Генерал разгневан на Адриана, а тот, на кого генерал разгневан, должен умереть».

Фрекен Спаак вернулась в кухню и начала спрашивать, нет ли на хуторах или в других поселках знахарки, целительницы или кого-то в этом роде. Мало ли что... невыносимо сидеть сложа руки и ждать доктора из Карлстада.

Ну да, есть, сказали ей. В таких случаях посылают за Марит Эрикسدоттер. Она умеет вправлять суставы, останавливать кровь... много чего умеет. Ей-то, может, и удалось бы вывестиสติ барона из смертельного обморока, но...

– Но что?

– Но в Хедебю она, скорее всего, не пойдет...

– Смотрите! – крикнула помощница поварихи.

Она забралась на стремянку и шарила по самой верхней полке, той самой, где недавно нашлись потерянные ложки.

– Смотрите-ка, я нашла кое-что! – В руках у нее была старая детская шапочка барона Адриана. – Я ее давно искала.

Мальвина Спаак покачала головой. Ну и порядки были здесь до ее приезда... Удивительно! Детская шапочка... как она оказалась в кухне?

– А что тут удивительного? – Девка пожала плечами. – Она ему уже не належала, и он отдал ее мне – сделай из нее пару прихваток. Хорошо, что нашлась.

– Хорошая шапочка. – Фрекен Спаак повертела находку в руке. – Жалко резать на прихватки. Лучше отдать бедным.

Она вынесла шапочку во двор и выбила пыль.

На пороге усадьбы появился барон:

– Нам кажется, Адриану хуже.

– Неужели нет ни одной знахарки поблизости? – стараясь, чтобы вопрос прозвучал как можно более невинно, спросила Мальвина Спаак. – Прислуга говорит про какую-то Марит Эрикسدоттер.

Лицо барона окаменело.

– Вы прекрасно понимаете, фрекен Спаак, если речь идет о жизни моего сына, я готов обратиться к моему злейшему врагу. Но это не поможет. Марит Эрикسدоттер в Хедебю не придет ни за какие деньги.

Фрекен Спаак не решилась возражать. Она продолжила поиски, позаботилась об обеде, даже уговорила баронессу немного поесть. Перстня не было.

Девушка упрямо повторяла про себя:

– Надо найти перстень. Если мы не найдем перстень, генерал убьет Адриана.

После полудня она пошла в Ольсбю. Никто ее не посылал – пошла самовольно. Каждый раз, когда она подходила к постели Адриана, пульс становился все слабее и реже, найти его становилось все труднее и труднее. Мальвина Спаак просто не могла заставить себя сидеть сложа руки в ожидании доктора из Карлстада.

Конечно, Марит почти наверняка ей откажет, но она никогда бы себе не простила, если бы не попыталась сделать все, что от нее зависит.

Марит Эрикسدоттер сидела на любимом месте – на ступеньке крыльца своей свайной хибары. Сидела, откинув голову и закрыв глаза. На коленях ее не было ни шитья, ни вязанья. Мальвине Спаак показалось, что пожилая женщина дремлет, но та открыла глаза и сразу ее узнала.

– Ага, – тихо сказала она. – Значит, вас послали за мной из Хедебю?

– Госпожа Марит уже слышала, какая беда стряслась в усадьбе?

– Слышала. Не приду.

На Мальвину Спаак нахлынула волна такой безнадежной тоски, что она не смогла вымолвить ни слова. Ей и так казалось, что в этот день весь мир ополчился против нее, но отказ переполнил чашу. Мало того, в голосе Марит она услышала если не злобную радость, то, по крайней мере, плохо скрытое удовлетворение. Та сидела на своем крыльце и попросту радовалась, что барон Адриан вот-вот умрет.

До этого фрекен Спаак держалась – не жаловалась, не заламывала руки, не плакала. Даже когда увидела бездыханного Адриана на полу.

Но тихое злорадство Марит оказалось ей не по силам. Она внезапно разрыдалась, громко и безутешно. Добрела до сруба, приложила лоб к потрескавшемуся бревну и плакала, плакала, по-детски всхлипывая, не утирая и не стараясь скрыть слез.

Марит наклонилась вперед, долго не сводила глаз с рыдающей девушки и, как ни странно, сама того не зная, повторила слова баронессы:

– Вот оно, оказывается, как дело-то обстоит...

И в эти секунды, пока она смотрела на девушку, оплакивающую своего возлюбленного, что-то произошло в ее душе.

Всего только пару часов, как ей принесли новость из Хедебю: оказывается, генерал оказался Адриану и настолько напугал, что юноша лежит при смерти. У нее едва не вырвалось радостное восклицание – наконец-то! Наконец-то настал ее час, час мести, которого она ждала столько лет. Она всегда была уверена, что никакое преступление Бог не оставит без возмездия, но уже начала сомневаться. Ротмистр Лёвеншёльд успел умереть, и никакая Божья кара на него не обрушилась. А генерал... что ж генерал... он, конечно, бродит по усадьбе, пугает людей, но, похоже, на собственную родню его свирепость до сегодняшнего дня не распространялась.

Но сегодня наконец-то судьба их настигла – и что же? Они бегут за ней! У них хватает наглости посылать за ней! Пусть просят помощи у повешенных по их милости невинных людей.

С каким наслаждением произнесла она это «не приду»! Это и есть ее отмщение – сухо сказанных два слова.

*Не приду.*

Но сейчас она смотрела на горько рыдающую девушку, и в ней, медленно и неохотно обретая форму, поднимались воспоминания. Вот так же и она сама тогда... стояла, опершись о стену, потому что во всем мире не осталось людей, на кого она могла бы опереться. Стояла и рыдала, и утешить ее было некому.

И по мере того, как она вспоминала тот страшный день, в душе сначала робко, а потом настоящим гейзером забил источник молодой любви и окатил ее душевной горячей волной.

Марит сидела неподвижно и удивлялась: что со мной? А удивляться нечему: так и бывает, когда кого-то любишь.

Она увидела перед собой могучего красавца Пауля Элиассона как живого. Вспомнила его голос, его веселый искрящийся взгляд, каждый его жест, по-юношески неуклюжий и от того еще более изящный... Она любила своего суженого, любила тогда, любит и сейчас. Но она не понимала, что любовь эта с годами нисколько не остыла. Любовь горела в ее душе с той же томительной силой, что и почти сорок лет назад. Как это могло произойти?

Но не только любовь. Еще и память о страшной, нестерпимой и никогда не утихающей боли, когда девушка навсегда теряет любимого.

И Марит с удивлением обнаружила, что в душе ее не осталось места ни для ненависти, ни для мести. Все заполнила старая, но, как оказалось, бессмертная любовь. Любовь и сострадание.

Она посмотрела на Мальвину Спаак – та продолжала рыдать так же горько и безутешно. Теперь она ее понимала. Она-то думала, холодные, одинокие годы навсегда остудили ее сердце – оказывается, нет. Нельзя забыть, как жжется огонь. И ей вовсе не хотелось, чтобы из-за нее невинная душа выстрадала все, что выстрадала она.

Любовь выше мести.

Она поднялась с крыльца и подошла к фрекен Спаак.

– Я пойду с тобой, – коротко сказала она.

Думаю, вы уже поняли: Мальвина Спаак вернулась в Хедебю вместе с Марит Эрикسدоттер.

За всю дорогу Марит не сказала ни слова. Фрекен Спаак только намного позже поняла почему: продумывала ритуал поиска злополучного перстня.

Она проводила Марит Эрикسدоттер в спальню родителей Адриана. Там все было так же. Прекрасное лицо Адриана заливала смертельная бледность, он лежал совершенно неподвижно, и так же неподвижно сидела у его постели баронесса, не сводя глаз с умирающего сына.

И только когда появилась Марит, баронесса подняла голову. Сначала могло показаться, что она не узнала эту женщину с лицом монахини в простой крестьянской одежде. Но нет, узнала, потому что сползла со стула и уткнула лицо в ее домотканую юбку.

– О, Марит, Марит... умоляю тебя, не думай про все зло, которое причинили тебе Лёвеншёльды! Умоляю, помоги ему! Помоги ему, Марит!

Это было удивительное зрелище: пожилая женщина в простой крестьянской одежде отступила на шаг от стоящей перед ней на коленях баронессы, а та поползла за ней.

– Ты не знаешь, Марит, что я пережила... когда генерал начал здесь появляться, я знала... знала и ждала, что гнев его в конце концов обратится против нашей семьи.

Марит не шевельнулась, казалось, она погружена в собственные мысли и не замечает ничего вокруг. Спокойное, сосредоточенное лицо, но фрекен Спаак понимала... нет, даже не понимала, а чувствовала, как приятно ей слышать слова баронессы о страданиях, как она наслаждается ее унижением.

– Сколько раз я собиралась прийти к тебе, Марит! Тысячу раз. Прийти, встать перед тобой на колени... вот так, как сейчас... встать на колени и умолять тебя простить Лёвеншёльдов. Сколько раз! Я ставила себя на твое место и понимала: такое простить невозможно.

– Госпоже баронессе и не надо меня умолять. Госпожа баронесса права: простить я не могу.

– Но ты же пришла!

– Я пришла ради этой девушки. Она попросила меня прийти, и я пришла.

Марит перешла на другую сторону постели. Положила руку на грудь больного и пробормотала несколько слов. Наморщила лоб, закатила глаза и плотно сжала губы.

Типичная деревенская знахарка, подумала Мальвина Спаак.

– Он будет жить, – сказала Марит. – Но помните, госпожа баронесса, я помогаю ему только ради этой девушки.

– Да, Марит, да! Я никогда этого не забуду...

Мальвине Спаак почудилось, что баронесса хочет сказать что-то еще, но та промолчала. Только прикусила губу.

– А теперь прошу госпожу баронессу предоставить мне...

– Распоряжайся всем и всеми, как хочешь. Барон уехал, я попросила его встретить доктора.

Мальвина Спаак была уверена, что Марит сейчас же попытается вернуть больного к жизни, но ничего подобного не произошло.

Марит Эриксдоттер приказала собрать всю одежду барона Адриана. И новую, и поношенную, и ту, что давно не носится. Все до последней тряпки. Все, что касалось его тела. Носки, сорочки, варежки, шапочки – все.

Почти весь вечер ушел на поиски. Никто ничего не делал, только искали, искали и искали. Фрекен Спаак была разочарована – она ждала чудес, а Марит Эриксдоттер оказалась всего-навсего обычной деревенской знахаркой, со всеми их ужимками, призванными создать ореол таинственности. Но что делать? Она тоже приняла участия в поисках. Тоже рылась в шкафах и сундуках, перевернула спальню Адриана. Ей помогали сестры Адриана – они лучше знали, что и когда он надевал и в этом году, и раньше.

Они спустились вниз с увязанным в огромный узел ворохом одежды.

Марит разложила все на кухонном столе и внимательно рассматривала каждую тряпку. Отложила в сторону башмаки, детские варежки и сорочку.

– Пару для ног, пару для рук, одну для тела, одну для головы... – бормотала она неразборчиво. Вдруг остановилась и посмотрела на собравшихся. – Мне нужно что-то для головы, – сказала она.

Фрекен Спаак показала ей на сваленные в кучу шляпы и кашетки<sup>12</sup>.

– Нет-нет, не то. Нужно что-то теплое и мягкое. Неужели у барона Адриана не было шерстяной шапочки, как у всех детей?

Мальвина Спаак уже приготовилась сказать, что ничего подобного ей не попадалось, но ее опередила та самая бойкая кухонная девка:

– Если что, так я на днях нашла. Одно название – шапочка. Совсем старая, я уж ее хотела на прихватки пустить, да вот фрекен у меня забрала зачем-то.

И Мальвине Спаак пришлось выложить шерстяную шапочку, а она-то собиралась хранить ее до конца дней как дорогую память о любимом человеке.

Марит схватила шапочку и опять начала бормотать свои заклинания, но теперь они звучали совсем по-другому. Она чуть ли не мурлыкала по-кошачьи.

– А теперь... – Марит Эрикسدоттер выпрямилась и строго обвела взглядом присутствующих. – А теперь все это отнесите и положите в могилу генерала.

Фрекен Спаак, услышав это, остолбенела:

– Неужели госпожа Марит думает, что барон позволит открыть могилу и положить туда это старое барахло?

Марит посмотрела на нее, и на губах ее промелькнуло что-то вроде улыбки. Она взяла фрекен Спаак за руку, подвела к окну и встала спиной к собравшейся в кухне челяди. Поднесла шапочку к глазам домоправительницы и молча раздвинула пальцами нитки большого помпона.

Все заметили: когда фрекен Спаак повернулась к собравшимся, на лице ее разлилась смертельная бледность, а руки заметно дрожали.

Марит собрала отобранные вещи в узелок и отдала Мальвине Спаак.

– Я свое сделала, – сказала она. – Теперь ваша очередь. Позаботьтесь, чтобы все это оказалось в могиле как можно быстрее.

И ушла.

\* \* \*

Домоправительница и экономка фрекен Мальвина Спаак пошла на кладбище в одиннадцатом часу вечера. Взяла с собой собранный Марит узелок, но при этом не имела ни малейшего представления, как ей удастся опустить его в семейный склеп Лёвеншёльдов. Полчаса назад приехал барон и привез доктора. Фрекен Спаак от всей души надеялась, что опытный карлстадский доктор сумеет привести Адриана в сознание и ей не придется выполнять мрачное поручение. Но тот почти сразу объявил: медицина бессильна. Больному осталось жить несколько часов.

И тогда фрекен Спаак сунула узелок под мышку и двинулась в путь. Она прекрасно понимала, что барон никогда не пошлет людей поднимать тяжеленную могильную плиту и вскрывать могилу только для того, чтобы положить в нее старую одежду Адриана. Он, может статься, и согласился бы, если бы она сказала про содержимое узелка, но сделать это она не имела права. Это означало бы предать Марит Эрикسدоттер, поскольку у Мальвины Спаак не было ни малейшего сомнения: именно Марит изобрела способ пронести роковой перстень в Хедебю. Она, конечно, вспомнила: барон Адриан рассказывал ей, как в детстве подрался с племянником Марит и та взялась зашить его шапочку. Мальвина Спаак даже думать не хотела, какой тарарам начнется, если она расскажет барону всю правду.

Потом, вспоминая этот вечер, она удивлялась: никакого страха не было. Одна, пусть белой, но все же ночью на кладбище... но нет. Страх не было. Мозг сверлила только одна мысль: как опустить узелок в могилу?

---

<sup>12</sup> Род кепки.

Она перелезла низкую ограду и подошла к склепу.

Села на могильную плиту и молитвенно сложила руки.

– Господи, если Ты мне не поможешь, склеп все равно откроется... но не для перстня, а для человека, которого я буду оплакивать всю жизнь...

Краем глаза она заметила в траве рядом с могильной плитой какое-то движение. На короткий миг появилась маленькая головка и тут же скрылась. Фрекен Спаак с трудом удержалась, чтобы не вскрикнуть. Крыса, несомненно, испугалась, но она-то боялась крыс ничуть не меньше, чем они ее.

И тут ей пришла в голову странная мысль. Она подошла к большому кусту сирени, отломала длинную сухую ветку и очистила от сучьев. Отыскала в траве крысиную норку и сунула туда длинную, гибкую, похожую на удилице хворостину.

Хворостина уперлась во что-то твердое. Тогда она попробовала воткнуть ее под углом, и со второго или третьего раза ей удалось провести свой прут довольно далеко и, как ей показалось, в направлении к склепу. Она даже удивилась, насколько далеко. В руках у нее остался самый кончик, три-четыре дюйма, не больше.

Мальвина Спаак вытащила свое орудие. Три, а то и четыре локтя, не меньше. Задумчиво поглядела на надгробье – наверняка ее хворостина побывала в могиле.

Никогда в жизни – ни до, ни после – голова не работала так ясно. Значит, крысы проделали ход в склеп. Что там произошло? Трещина? Вполне возможно. Или выпал кусок известки из кладки.

Она легла на землю, вырвала несколько пучков травы, разгребла землю и, подавив приступ страха, сунула в нору руку. Рука ушла по локоть, но до склепа не достала.

Руки недостаточно.

Она трясущимися от волнения руками развязала узелок, достала шапочку с перстнем, надела на хворостину и сунула в нору. Медленно и очень осторожно продвигала ветку дальше и дальше, моля Бога, чтобы не сломалась. И когда весь хлыст почти ушел в нору, ахнула: ей показалось, кто-то вырвал его, как крупная рыба вырывает удочку из рук неопытного рыбака.

Хлыст исчез.

А может быть, она держала его недостаточно крепко, и он просто-напросто провалился в нору под собственной тяжестью?

Нет, она была уверена. Хлыст кто-то вырвал.

И ни секунды не сомневалась кто.

Только теперь ее затрясло от страха. Она лихорадочно затолкала в дыру оставшиеся вещи, кое-как засыпала дерном и пошла в усадьбу. Нет, не пошла – побежала. Побежала стремглав, мало что соображая от ужаса, и до самой усадьбы ни разу не остановилась передохнуть.

На крыльце стояли барон и баронесса. Баронесса всплеснула руками:

– Где вы были, моя девочка? Мы стоим и ждем вас...

– Барон Адриан умер?

– Нет, что вы! Адриан не умер... – Барон пристально посмотрел на нее. – Но сначала скажите, где вы пропали?

Фрекен Спаак настолько задохнулась от бега, что почти не могла говорить. Но все же рассказала кое-как о странном совете Марит Эриксдоттер. И она до сих пор не знает, выполнила она его или нет. По крайней мере, удалось затолкать что-то из старья в крысиную нору.

– Очень и очень странно... – задумчиво произнес барон. – Адриану намного лучше. Он очнулся несколько минут назад, и знаете, каковы были его первые слова? Он открыл глаза и произнес: «Генерал получил свой перстень».

– Пульс хороший, сердце бьется, как всегда... порозовел, – добавила баронесса, с особым удовольствием выговорив последнее слово. – Он требует, чтобы вы к нему зашли.

Хочет немедленно с вами поговорить. Утверждает, что вы его спасли. Поэтому мы стоим здесь и недоумеваем, куда вы подевались.

И фрекен Мальвина Спаак осторожно вошла в спальню. Адриан уже сидел на постели. Увидев ее, широко раскинул руки.

– Я знаю, знаю! – воскликнул он и обнял ее. – Генерал получил свой перстень, и это ваша заслуга, фрекен Спаак!

Он обнимал ее и целовал в лоб, а фрекен Спаак плакала и смеялась.

– Вы спасли мою жизнь, фрекен Мальвина Спаак. Если бы не вы, я был бы уже остывающим трупом. За такой подвиг никакой благодарности не хватит.

Этот восторг, с каким встретил ее юноша, эта искренняя благодарность, очевидно, притупили осторожность Мальвины Спаак, и она не заметила, что лежит в его объятиях довольно долго.

– И не только я, фрекен Спаак, – поспешил добавить Адриан. – Не только я благодарен вам на всю оставшуюся жизнь. Есть и другой человек.

Он снял с шеи медальон, открыл его, и она увидела миниатюрный портрет юной девушки.

– Вы первая, кто знает... кроме родителей. Через несколько недель она придет в Хедебю и поблагодарит вас сама... думаю, еще горячее и сердечнее, чем удалось это сделать мне.

И что же сделала фрекен Мальвина Спаак? Фрекен Мальвина Спаак сделала книксен и поблагодарила юного барона за доверие. Она хотела было сказать, что вовсе не собирается оставаться в Хедебю и дожидаться его невесты, но передумала.

Ты бедна. У тебя никого нет, кто бы мог тебя поддержать, сказала она себе. Глупо отказываться от такого хорошего места.

## Книга вторая ШАРЛОТТА ЛЁВЕНШЁЛЬД

### Полковница

#### I

Жила когда-то в Карлстаде полковница. Звали эту полковницу Беата Экенстедт.

Она происходила из рода Лёвеншёльдов, была красива, приятна в обращении и к тому же прекрасно образована. Даже пробовала себя в поэзии, и стихи ее считались ничуть не менее забавными и изящными, чем, скажем, стихи госпожи Леннгрен.

Небольшого роста, но с великолепной осанкой, как, собственно, и большинство Лёвеншёльдов. Красивое, одухотворенное лицо, умение сказать что-то доброе и приятное любому, кого бы она ни повстречала. Что-то романтическое было в ее облике... одним словом, мила на удивление. Забыть невозможно.

И одевалась до крайности элегантно, и причесана безукоризненно. В любом обществе, где бы она ни появилась, можно было не спрашивать: а у кого самая красивая камея? самый изысканный браслет? самые сверкающие кольца? Ясно и так: конечно же у полковницы Беаты Экенстедт. А у кого самые маленькие ножки? У нее же, у полковницы. И туфельки с золотым шитьем на высоких каблуках, неважно, в моде ли они в Париже или Стокгольме. В Вермланде то, что носит полковница, то и модно.

Жила полковница в очень красивом доме. Наверное, самом красивом в Карлстаде. Не на одной из узких, тесных улочек, искромсавших городской центр, а на самом берегу реки Кларэльвен. Из окна своего будуара она могла любоваться то на хмурую, то на сверкающую вуалью солнечных искр реку. А однажды ночью, когда над рекой стояла огромная, как медный таз, луна, к ней под балкон явился водяной – так она рассказывала. Подумайте только – водяной!

Он пел и аккомпанировал себе на золотой арфе. И никто не сомневался в ее рассказе, никто не крутил пальцем у виска – если уж все мужчины Карлстада готовы пасть к ее ногам, почему бы и водяному не спеть серенаду для обворожительной полковницы?

Столичные жители, заброшенные в Карлстад делами или родственными обязательствами, считали своим долгом нанести ей визит. Если вы сомневаетесь, то сомневаетесь напрасно: она очаровывала их незамедлительно, и они пожимали плечами: как может такая женщина, подлинный бриллиант в короне... как она может похоронить себя в маленьком провинциальном городке? Говорят, сам епископ Тегнер посвятил ей стихотворение, а кронпринц сказал вот что:

– Подлинное, несомненное французское очарование.

И даже произнес последние слова, грацируя на французский манер: «Фх'анцузское очах'ование». Хотел, видно, подчеркнуть: не просто очарование, а именно французское.

Сам генерал Эссен, да и не только генерал, многие из тех, кто помнил галантные времена Густава Третьего, люди, поверьте, много чего повидавшие, вынуждены были подтвердить: таких ужинов, какие задавала полковница, они в жизни не видели. Стол, сервировка, изящная застольная беседа – выше всяких похвал.

У полковницы были две дочери, Эва и Жакетт. Прелестные, приветливые девушки, ими восхищались бы в любом городе. Но не в Карлстаде. Девушки жили в тени материнской славы. Даже на балах молодые люди состязались за честь потанцевать с полковницей, а бедные Эва

и Жакетт подпирали стены. Мы уже упоминали водяного; добавим – не он один, не только водяной. Многие пели серенады под окнами полковницы. Но никогда и никто не видел, чтобы кто-то стоял с гитарой или арфой под окнами дочерей. Только под окном полковницы. Юные поэты сочиняли оды и посвящали их Б. Э., но ни одной строфы, да что там – ни одной строки не посвятили они ни Э. Э., ни Ж. Э.

Любители позубоскалить на чужой счет утверждали: все же был случай, когда некий подпоручик надумал посвататься к Эве Экенстедт. Он и посватался, но полковница ему отказала: сочла, что у юноши скверный вкус.

Полковница не была бы полковницей, если бы у нее не было полковника. Полковник был. Достойный, мало того, достойнейший человек, заслуживающий самых лестных слов. Его приняли бы с распростертыми объятиями в любом обществе. В любом, но не в Карлстаде. Потому что в Карлстаде его все время сравнивали с женой – легкой и изящной, как бабочка, блистательной, находчивой и остроумной, приветливой и веселой до игривости. И грустно признавать, но приходится: на фоне жены он выглядел в глазах земляков как неотесанный провинциальный мужлан. Гости даже не особо прислушивались к его высказываниям. Правильнее сказать – они его просто не замечали.

Было бы несправедливо и глупо предположить, чтобы полковница допускала хотя бы малейшую близость с кем-то из вьющихся вокруг нее кавалеров. Или хотя бы неуместную игривость. Нет, об этом и речи не шло. Она держалась безупречно. Никто в городе не мог похвастаться особо доверительными отношениями с блистательной полковницей. С другой стороны, она не предпринимала никаких усилий, чтобы помочь мужу занять достойное место в обществе, вывести его из тени. Видимо, считала, что там ему и место – в тени.

И, наверное, настало время поведать, что кроме мужа и двух дочерей у очаровательной, окруженной всеобщим поклонением полковницы был еще и сын. А сына она не просто любила. Она его обожала, восхищалась, пользовалась каждой возможностью показать, какой у нее замечательный сын. И любой, кто хотел продолжать получать приглашения на легендарные вечера у полковницы, обязан был восхищаться этим во всех отношениях исключительным юношей.

Но не торопитесь осуждать полковницу – никто не станет отрицать, что у нее были все основания гордиться своим отпрыском. Она, возможно, баловала его, но он был и в самом деле очень одаренный и при этом приветливый и скромный мальчик. Не капризный, не дерзкий, не назойливый, как другие избалованные дети. Не прогуливал уроки, не устраивал каверз учителям. И, как ни странно, был куда более романтичен, чем сестры. Ему не было еще и восьми, как он начал писать стихи. Мог прийти к матери и возбужденно рассказывать: мамочка, я видел эльфов, они танцевали на лугу в Вокснесе, а водяной играл для них на арфе. Полковница не удивлялась – чему удивляться, когда она и сама видела этого водяного у себя под балконом?

Красивое, вдохновенное лицо, темные, мечтательные глаза... замечательный, превосходный молодой человек, во всех отношениях достойный своей выдающейся матери.

Она так любила этого юношу, что для всех остальных просто не оставалось места в ее сердце. Но при этом вовсе не была безумной, слабовольной мамашей, прощающей любимому сыну все грехи. Ничего подобного. Карл-Артур Экенстедт получил хорошее, основательное воспитание. А главное, научился работать. Да, она ставила его выше других созданных Богом существ, это правда. Но именно поэтому он должен был приносить из гимназии самые высокие оценки. И многие с одобрением отмечали: пока Карл-Артур учился, полковница никогда не приглашала на свои приемы учителей. Никогда! Ни один человек не решится даже намекнуть, что Карл-Артур так хорошо успевал в школе только потому, что он сын полковницы Экенстедт.

Нет, что ни говори, у полковницы был стиль.

В гимназическом аттестате у Карла-Артура стояло *laudatur* – высшая оценка по всем предметам. Большая редкость, между прочим. До него такой чести удостоивался только Эрик

Густав Гейер<sup>13</sup>. И поступить в Упсальский университет для юноши было делом вовсе не трудным, как и для Гейера, – с такими-то баллами! Полковница много раз встречалась с маленьким и толстым профессором Гейером. Она даже как-то удостоилась чести быть его собеседницей за столом на парадном обеде у наместника. Впрочем, жители Карлстада пожимают плечами: еще неизвестно, кто из них удостоился чести – она или он. Профессор Гейер был необычайно одаренным и интересным человеком, но полковница никак не могла отделаться от мысли, что у ее сына не менее светлая голова, чем у профессора Гейера. И ее сын, Карл-Артур, тоже станет известнейшим профессором, на его лекции тоже будут стремиться и кронпринц Оскар, и наместник короля Йерта, и полковница Сильверстольпе. Одним словом, все упсальские знаменитости.

Итак, Карл-Артур в конце лета 1826 года уехал в Упсалу. И представьте, весь семестр раз в неделю отправлял домой письма. И не только первый семестр – за все годы учения в Упсальском университете он ни разу не нарушил данного матери обещания. И ни одно письмо, ни одна записка не были уничтожены! Полковница читала их и перечитывала, а за воскресными обедами, когда собиралась родня, знакомила собравшихся с последним письмом от любимого сына. И правильно делала – это были письма, которыми могла бы гордиться любая мать.

Полковница не без оснований подозревала, что родственники только и ждут, что Карл-Артур на поверку окажется не таким уж примерным сыном. Поэтому с особым наслаждением зачитывала, как он умно и рассудительно тратит деньги: снимает дешевую меблированную комнату, покупает на базаре масло и сыр, чтобы не тратиться на рестораны, встает в шесть утра, работает двенадцать часов в день. А этот почтительный тон, полный восхищения и преклонения перед матерью! Она зачитывала эти письма и настоятелю собора Шёборгу, чья жена была урожденной Экенстедта, и двоюродному брату мужа советнику Экенстедту, и своим двум кузенам Стаке, которые жили в большом угловом доме. Зачитывала со вкусом, не торопясь. Подумать только: Карл-Артур только теперь, оказавшись в большом мире, осознал, что его мать могла бы стать выдающейся поэтессой, если бы не посвятила свою жизнь мужу и детям! И написал об этом матери. Даже у нее, привыкшей ко всякого рода похвалам и комплиментам, глаза были на мокром месте.

Но настоящим триумфом стало полученное перед Рождеством письмо, в котором Карл-Артур сообщил, что не израсходовал все полученные от отца перед поездкой в Упсалу деньги. Он сэкономил примерно половину и привезет оставшиеся деньги с собой. У настоятеля и советника открылись рты от удивления, а один из кузенов Стаке, тот, что повыше ростом, заявил вот что: готов держать пари, что никогда ничего подобного в этой части света не случилось и вряд ли случится впредь. И все сошлись на одном: Карл-Артур – настоящее чудо.

Конечно, полковница тосковала по сыну. Он появлялся дома только на каникулах, и письма его служили истинным утешением. Она получала от них такую радость и такое удовлетворение, что иногда ей приходила в голову мысль: лучше и быть не может. Карл-Артур побывал, к примеру, на лекции знаменитого поэта-романтика Аттенбума и разразился целым эссе о поэзии и философии. Эссе такой силы и глубины, что полковница уже ни на секунду не сомневалась, что ее сыну суждено стать знаменитым человеком. И, может быть, даже превзойти в известности самого профессора Гейера. Его имя наверняка будут произносить в том же ряду, что и имя великого Карла фон Линнея. Полковница не видела причин, отчего бы ее сыну не стать мировой научной знаменитостью. Или знаменитым скальдом, как тот же Тегнер. Она наслаждалась этими мыслями, как гурман наслаждается королевскими деликатесами.

Рождественские и летние каникулы Карл-Артур проводил дома в Карлстаде, и каждый раз, когда он приезжал, полковнице казалось, что сын сделался еще красивее. Мало того, ста-

---

<sup>13</sup> Эрик Густав Гейер (1783–1847) – шведский историк, поэт, публицист, композитор и педагог.

новится настоящим мужчиной. Внешне – да, но в душе он оставался тем же любящим и преданным сыном. Почтителен с отцом, нежен с матерью, весел и шутлив с сестрами.

Иногда полковницу охватывало нетерпение. Что ж такое, год за годом сын грызет гранит науки в Упсале, а ничего не происходит. То есть, может, и происходит, но имя его пока еще не прогремело по всей стране. Ей, конечно, разъясняли: Карл-Артур собирается сдавать так называемый большой кандидатский экзамен, а это требует времени. Только представьте, полковница, говорили ей знающие люди, только представьте! Надо сдать экзамены по всем предметам! По всем до единого! Астрономия, древнееврейский, геометрия... только представьте!

Она соглашалась, кивала головой.

– Представляю, – говорила она, но примириться не могла. – Это чересчур.

И все с ней соглашались – да, чересчур, само собой, чересчур, но не станут же ради Карла-Артура менять порядок выпускных экзаменов! И не где-нибудь, а в самом Упсальском университете, одном из самых древних и знаменитых университетов Европы.

Глубокой осенью 1829 года Карл-Артур прислал полковнице письмо. Шел уже седьмой семестр учебы. К великой ее радости, он записался на экзамен в латинском правописании. Экзамен не особо сложный, написал он. Не сложный, но важный, потому что, прежде чем сдавать кандидатский, необходимо иметь зачет по латыни.

Карл-Артур не придавал этому экзамену большого значения. У него никогда не было никаких затруднений с латынью. Уверен, написал он, все пройдет без сучка и задоринки.

В конце письма сообщил, что больше дорогим родителям писать не станет: смысла нет. Как только получит результат, сразу поедет домой – и надеется уже в конце ноября, а именно тридцатого числа, прижать к груди родителей и сестер. Еще до того, как успеет дойти письмо.

Вот так. Карл-Артур нисколько не сомневался, что сдаст латынь без особых трудностей. Но против всех ожиданий экзамен он провалил. Упсальские профессора решили его срезать и даже не обратили внимания на гордое *laudatur* в его карлстадском аттестате.

Он не столько огорчился, сколько удивился. Сомнений в своих знаниях у него не возникло. Другое дело – неприятно возвращаться домой побежденным. Но Карл-Артур был уверен – родители, по крайней мере мать, поймут: этот провал – результат придинок профессуры. С одной стороны, дали понять, что требования к знаниям в университете серьезнее и выше, чем у учителей карлстадской гимназии, а с другой – решили наказать за самоуверенность: Карл-Артур пропустил несколько лекций.

От Упсалы до Карлстада несколько дней пути. Подъезжая к восточной таможне в ранних, уже зимних сумерках, Карл-Артур уже почти забыл про свою неудачу, зато радовался своей пунктуальности: он возвращался именно тридцатого ноября, как и обещал. Представил мать в накинутой на плечи шали у окна: когда же наконец появится его экипаж? А сестры, наверное, уже хлопчут у стола.

Сани проскрежетали по булыжным мостовым кривых и тесных улочек старого города и выехали к западному рукаву реки, уже схваченной первым льдом. Карл-Артур увидел свой дом на берегу, и настроение резко упало. Что происходит? Весь особняк освещен, как церковь в рождественское утро. Мимо проносятся одни за другими роскошные сани с разодетыми в меха господами и дамами, и, похоже, все они собираются нагрянуть к ним в гости.

Нашли время затевать праздник, подумал он с некоторым раздражением. Он порядком устал после долгой поездки по засыпанному снегом, еще не разъезженным, а кое-где и обледеневшим дорогам. Охотнее всего бы поужинал и завалился в постель, а теперь придется переодеваться и развлекать гостей до полуночи, а то и позже.

И тут он внезапно похолодел.

А что, если мама затеяла этот прием в честь его блестящих успехов в латыни? Только не это...

Попросил кучера подъехать к черному ходу – ему вовсе не хотелось сталкиваться с гостями.

Через пару минут послали за полковницей. Слуга с поклоном пригласил ее в комнату домоправительницы – Карл-Артур только что приехал и хочет с ней поговорить.

Полковница всплеснула руками. Она больше всего боялась, что Карл-Артур задержится в пути и не успеет к задуманному приему, но нет! Он как всегда успел, ее мальчик!

Но Карл-Артур даже не заметил, что мать протягивает ему руки для объятия.

– Что ты затеяла? – спросил он, не поздоровавшись. – Почему сюда съехалось полгорода? Словно бы встреча с матерью его вовсе не обрадовала.

– Но я думала... это же стоит отпраздновать... – Она так растерялась, что у нее похолодели пальцы. – Теперь, когда ты прошел это жуткое испытание...

– Мама, ты, вероятно, даже и в расчет не принимала! Не думала, что я могу провалить этот экзамен... а именно так и случилось.

Полковница обомлела. Такое ей и в голову прийти не могло. Карл-Артур, ее блестящий, несравненный Карл-Артур провалил экзамен!..

– Это никакого значения не имеет. – Видя, что мать побелела и вот-вот упадет в обморок, поспешил успокоить ее Карл-Артур. – Само по себе – никакого значения. А теперь... ты же пригласила весь город отпраздновать мои блестящие успехи. Теперь у твоих поклонников будет о чем поговорить.

Полковница по-прежнему не нашлась что сказать, тем более что он прав. Жители Карлстада – особый народ. Спору нет, ничто так не украшает студента, как скромность, старательность и умеренность. Но этого им мало! Они ожидают премий в Шведской академии, блистательных диссертаций, диспутов, причем такого уровня, что заслуженные упсальские профессора повывдирают бороды от зависти. Они ожидают гениальных импровизаций на национальных праздниках, огненных речей, они ожидают немного восхищения литературных кругов и приглашений на чашку кофе к профессору Гейеру, наместнику фон Кремеру или полковнице Сильверстольпе.

Вот такое пришлось бы им по вкусу. А в студенческой карьере Карла-Артура блистательных взлетов пока не случалось. Полковница ясно чувствовала, что знакомые ждут от ее сына чего-то выдающегося, необыкновенного, что подтвердило бы его редкостное дарование, и ей казалось, что теперь, когда Карл-Артур сдал серьезный экзамен, вполне уместно обратить на этот подвиг внимание общества.

И она даже представить не могла, что ее сын не сдаст какой-то, пусть самый трудный, экзамен.

– Никто ничего не знает, – сказала она задумчиво. – Никто не знает, что ты приехал. Кроме прислуги, конечно. Все только слышали, что их ждет приятный сюрприз.

– В таком случае маме придется выдумать этот сюрприз. А я пойду в свою комнату. К гостям не выйду. И не потому, что не хочу их расстраивать... к тому же вряд ли они так уж расстроятся. Скорее наоборот... Нет, дело не в этом. Я не хочу выслушивать их соболезнования.

– Боже мой... что же я могу выдумать? – жалобно спросила полковница.

– Не знаю... наверняка мама найдет выход, – сухо и с нескрываемым сарказмом сказал он. – Чтобы мама и не нашла выход? Разве такое возможно? А я, пусть мама меня извинит, пройду к себе. Гости не должны знать, что я приехал.

Полковница задумалась. Нет... это невозможно. Развлекать гостей, быть, как всегда, центром внимания, острить и выслушивать комплименты и при этом знать, что любимый сын сидит у себя в комнате, и душа его кипит от злости и огорчения.

Она этого не выдержит.

– Карл-Артур, милый, прошу тебя, спустишься к гостям. Я что-нибудь придумаю.

– Что тут можно придумать?

– Пока не знаю. Хотя... почему не знаю? Знаю! Ты будешь доволен. Никому даже и в голову не придет, что я затеяла прием в твою честь. Только обещай: ты приведешь себя в порядок и спустишься к гостям.

И что же? Прием удался на славу! Один из блестящих, запоминающихся надолго приемов в доме полковника Экенстедта. Если не самый блестящий.

Подали жаркое, откупорили шампанское, и тут-то, неожиданно для всех, поднялся полковник и огласил предстоящую помолвку их дочери Эвы с лейтенантом Стеном Аркером. Поднял бокал с шампанским и предложил присоединиться к тосту в честь молодых.

Восторгам и поздравлениям не было конца.

Лейтенант Аркер... бедный офицер, к тому же без всяких перспектив на повышение. Все знали – он очень долго увивался за Эвой Экенстедт. Поскольку дочери полковника никак не могли похвастаться обилием поклонников, весь город с интересом следил за развитием романа, но никто и никогда не предполагал, что полковница даст согласие на этот брак.

Постепенно все же просочились слухи, что такое решение было чистой импровизацией. Оказывается, полковница дала согласие на помолвку вынужденно – хотела скрыть, что обещанный сюрприз не состоялся.

И представьте, никто даже не подумал ее осуждать. Наоборот. Вот это женщина! Вряд ли во всем мире найдется кто-то, кто умеет с таким блеском выходить из самых затруднительных положений. Только полковница Экенстедт.

## II

Кроме прочих достоинств, у полковницы Беаты Экенстедт было замечательное свойство: она не держала на людей зла. Если кому-то случалось ее обидеть, выжидала. Пусть обидчик одумается и извинится. Важно соблюсти эту церемонию. И охотно прощала, а простив, становилась такой же теплой и приветливой, как и до ссоры. Надо отдать ей справедливость – отходчивая женщина.

Все дни рождественских праздников она с нетерпением ждала, когда же Карл-Артур наконец попросит прощения за свое поведение в тот памятный вечер. Как он грубо с ней разговаривал! Полковница ставила себя на его место и понимала – да, безусловно, причины для вспышки были. Мальчик устал с дороги, подавлен неудачей, а тут этот неуместный праздник... и все же с матерью так не разговаривают.

Прошло уже несколько дней, было время одуматься, но он вел себя так, будто ничего не случилось. Ни малейших признаков раскаяния.

Веселился на рождественских приемах, охотно катался с молодежью на санках. Дурное настроение как рукой сняло: такой же приветливый и внимательный, как всегда. Но... он не сказал тех слов, что она от него ждала. Наверное, никто, кроме нее, не замечал, но между ними выросла невидимая стена. Они были не так близки друг другу, как всегда. Нет-нет, недостатка в ласковых словах не было ни с его, ни с ее стороны, но она понимала: нарыв не вскрыт.

Он так и уехал в Упсалу, думая только, как исправить случившуюся на экзамене оплошность. Так что если полковница надеялась получить от сына письменные извинения, то надеялась зря. Карл-Артур писал исключительно о своих студенческих делах: мол, дни и ночи напролет зубрю проклятую латынь. Мало того, беру частные уроки у двух доцентов, хожу на все лекции и даже записался в некий клуб, где диспуты и семинары проходят исключительно на латыни. Одним словом, делаю все, чтобы на этот раз выдержать экзамен и не опозориться.

То есть посылал домой письма, полные самых радужных ожиданий.

Полковница отвечала в том же духе, но в глубине души ее терзал страх. Как же так? Он обидел родную мать, не попросил прощения, и вполне может случиться – высшие силы его за это накажут.

Только не подумайте: она вовсе не желала сыну зла. Даже молилась, просила не обращать внимания на его проступок. Пыталась объяснить Господу: не вини его, я сама во всем виновата.

– Не он заслуживает наказания, а я. Все из-за моей глупости и тщеславия. Хотела похвастаться его успехами.

Но после этих молитв она по десять раз перечитывала письма сына, пытаясь найти в них желанные слова раскаяния, не находила и волновалась все больше. Ее мучили предчувствия: если Карл-Артур не попросит прощения, ни за что не сдаст он этот проклятый экзамен.

В чудесный мартовский день, ближе к концу семестра, полковница объявила домашним: еду в Упсалу навестить приятельницу Маллу Сильверстоल्पе. Они встретились прошлым летом в Кавлосе на приеме у Юлленхолов и так подружились, что теперь Малла зовет ее приехать в Упсалу, обещает познакомить со своими друзьями из литературных кругов.

Карлстадские друзья пожимали плечами: что это с ней? Распутица, по дорогам не проехать. Все ожидали, что полковник скажет свое веское слово и отговорит от опасной поездки, но полковник согласился, как, впрочем, и всегда. Не было случая, чтобы он что-то запретил жене.

Дороги, как и предсказывали, были отвратительные, несколько раз коляска застревала в размокшей вязкой глине, приходилось поднимать ее рычагами, подстилать сучья. Лопнула рессора. Не успели кое-как починить – сломалась оглобля. Переломилась пополам, как спичка.

Но полковница держалась. Маленькая, хрупкая полковница держалась. Конечно, физически она была слаба, но мужества и юмора хватало на всех. Хозяева постоянных дворов, смотрители, кузнецы и крестьяне, которых она встретила на пути, пошли бы за ней на край света, настолько велико было ее обаяние. Все будто понимали, как важно полковнице добраться до Упсалы.

Она, само собой, предупредила госпожу Маллу Сильверстоल्पе о своем приезде. А Карлу-Артуру – ни слова. И подругу попросила не выдавать – как приятно сделать мальчику сюрприз!

Полковница уже доехала до Энчёпинга. До Упсалы всего несколько миль<sup>14</sup>, но тут новая неприятность. Лопнул обод, веером разлетелись спицы, и надо ждать, пока починят колесо.

Она сходила с ума от нетерпения и беспокойства. Поездка заняла намного больше времени, чем предполагалось, а переэкзаменовку по латыни могли назначить на любой день. И тогда все теряет смысл: она и затеяла это путешествие только ради того, чтобы дать сыну возможность попросить прощения *до экзамена*. Полковница была уверена – если он не произнесет заветных слов примирения, неизбежно провалится и во второй раз. Откуда взялась эта уверенность, она и сама не могла бы сказать.

Не могла усидеть на месте. Раз за разом сбегала по лестнице – не привезли ли обод от кузнеца?

И вот полковница в очередной раз спустилась вниз, остановилась на крыльце и увидела, как на постоянный двор въезжает двуколка, а рядом с кучером сидит студент. И студент этот – кто бы вы думали? Полковница не верила своим глазам. Рядом с кучером сидел ее сын, Карл-Артур!

Он спрыгнул с коляски и подбежал к ней. Никаких объятий, схватил ее руку, прижал к груди и глянул на нее так хорошо знакомым ей чудесным, мечтательным, почти детским взглядом:

– Мама... прости мне мою неблагодарность! Я вел себя так скверно тогда, зимой... Ты же затеяла праздник в честь моего возвращения, а я... я... – Глаза его наполнились слезами.

Она чуть не захлебнулась от счастья. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Такого не бывает.

---

<sup>14</sup> Напомним: шведская миля равна 10 километрам.

Полковница вырвала у сына руку, обняла его и начала целовать. Она ничего не понимала, не могла объяснить, что произошло, но твердо знала одно: она вернула сына. Она вернула сына! Счастливее момента в ее жизни не было и, скорее всего, не будет.

Полковница потянула Карла-Артура за руку, они поднялись в ее комнату, и тут все объяснилось.

Нет-нет, он еще не писал экзамен. Экзамен завтра. Но он вдруг понял, что не сможет его сдать, и помчался в Карлстад, чтобы увидеться с матерью.

– Ты сумасшедший... неужели ты рассчитывал съездить в Карлстад и вернуться за один день?

– Нет... конечно нет. Я твердо знал, что я должен делать. Все остальное – будь что будет. А экзамен... я и сейчас уверен, что опять провалюсь, если не попрошу у тебя прощения.

– Но, мальчик мой... достаточно было одной фразы в письме!

– Сам не знаю, что на меня нашло. Весь семестр был сам не свой. Тоска, тревога, неуверенность... не мог понять, что со мной. Только сегодня ночью сообразил: я тебя обидел, мама. Я ранил твое сердце, сердце, в котором умещается столько любви и нежности ко мне, твоему сыну. И стало ясно – я не смогу работать, не смогу достичь хоть какого-то успеха, пока не выпрошу у тебя снисхождения.

Полковница опустила на табуретку. Она закрыла ладонью полные слез глаза, а другую руку протянула к сыну и слегка помахала в воздухе.

– Это замечательно... Карл-Артур, ты даже не представляешь, насколько замечательно все, что ты говоришь. Продолжай, умоляю, продолжай...

– Да... в том же доме, где я живу, снимает угол еще один юноша из Вермланда, Понтус Фриман. Он убежденный пиетист<sup>15</sup>, ни с кем не дружит, да и я с ним имел мало общего – до сегодняшнего дня. Нынче утром зашел к нему и рассказал: вот, мол, гложет меня ссора с матерью. «У меня самая нежная и любящая мать в мире, а я ее обидел, – сказал я, мучась раскаянием. – И даже не попросил прощения. Что мне делать?»

– И что он ответил?

– Он ответил коротко: «Поезжай к ней немедленно!» Я начал объяснять, что это и есть самое мое большое желание, но завтра у меня письменный экзамен по латыни, мои родители вряд ли одобряют, если я его пропущу... аргументы, аргументы... Но он даже слушать не захотел. Только повторял: «Поезжай немедленно! Немедленно поезжай! Не думай ни о чем другом, помирись с матерью, и Бог тебе в помощь!»

– И ты поехал?

– Да, мама, как видишь, поехал. Поехал, чтобы броситься к твоим ногам. Но уже в пути меня начали одолевать сомнения. Даже хотел вернуться. Я же знаю: твоя любовь простит мне все, даже если я задержусь в Упсале на пару дней. Хотел вернуться... но не вернулся. Продолжал путь. Сам не знаю, что мною двигало. И чудо – нахожу тебя здесь, на этом постоялом дворе. Как ты здесь оказалась? Божий промысел, иначе и объяснить невозможно.

Чудо. Он нашел верное слово: произошло чудо. Оба, мать и сын, сидели, обливаясь слезами, и благодарили Бога – ведь это чудо Он сотворил ради них. Оказывается, их хранит Провидение, и в минуты этого прозрения они впервые ощутили всемогущество и целительную силу соединившей их любви.

Они провели вместе около часа, и полковница решительно отослала Карла-Артура назад, в Упсалу, попросив при этом известить полковницу Маллу Сильверстолепе, что на этот раз им увидеться не удастся.

---

<sup>15</sup> *Пиетизм* – разновидность протестантской религии, высоко ставящая личное благочестие и чувство живого общения с Богом. Пиетисты считают, что человек постоянно находится под строгим и бдительным Божьим оком.

Подумайте, она даже не поехала в Упсалу. Решила вернуться назад. Цель достигнута. Теперь полковница была совершенно уверена: Карл-Артур выдержит свой экзамен. Можно спокойно возвращаться домой.

### III

Ни для кого в Карлстаде не было тайной: полковница очень религиозна. Она бывала в церкви не реже самого пастора, а по будням обязательно посвящала несколько минут молитве – и утром, и вечером. При этом требовала, чтобы вместе с ней молились все домочадцы.

На ее попечении было несколько бедных семей, и она никогда не забывала одаривать их несколько раз в году, не только на Рождество. Кормила обедами неимущих школьников, а в день своих именин, в день святой Беаты, обязательно накрывала праздничный стол для старушек в доме призрения.

Но никто в Карлстаде, и меньше всех полковница, не считал за грех, если она, и настоятель, и советник, и один из кузенов Стаке, тот, что постарше, после воскресного обеда сыграют партию в бостон. Что в этом плохого? Или молодежь, постоянно вьющаяся вокруг полковницы, устроит танцы в большом салоне.

И никогда, ни разу в жизни, полковница да, скорее всего, и никто из жителей Карлстада слыхом не слыхивали, что бокал хорошего вина к праздничному обеду может считаться предосудительным. Или что нельзя спеть застольную песню на стихи, сочиненные самой хозяйкой. И никто им не говорил, что Господь наш приходит в ярость, когда застаёт кого-то за чтением романа или у театрального подъезда. Полковница обожала домашние спектакли и сама в них частенько выступала. Для нее было бы большим ударом, если бы ей запретили пробовать себя в лицедействе. Но кто в Карлстаде мог ей запретить? Она же создана для сцены. Если госпожа Торсслоу<sup>16</sup> хоть вполтину так хороша в своих ролях, как полковница, нечему удивляться, что в Стокгольме носят ее на руках.

Карл-Артур – кто бы сомневался после такой романтической прелюдии! – успешно сдал экзамен, но оставался в Упсале еще целый месяц. Он очень сблизился с Понтусом Фриманом. А Фриман был не только рьяным сторонником пиетистского направления, но и выдающимся ритором. Легко представить, как его пылкие проповеди действовали на впечатлительного юношу.

Нет-нет, речь об окончательном обращении в пиетисты пока не шла, но воззрения Карла-Артура заметно изменились. Он вдруг обеспокоился рассеянным образом жизни в своем родном доме и в первую очередь обилием светских развлечений.

Вы уже поняли, между матерью и сыном отношения были на редкость близкие и доверительные, поэтому он, нимало не остерегаясь, сказал ей, что его смущает и что он находит неприемлемым. Например, карты – и полковница пропустила ближайший же роббер, уступив мужу место за ломберным столиком. О том, чтобы вообще отменить игру, речи не было. Она не считала себя вправе нанести такой удар настоятелю собора и советнику ратуши.

Дальше – больше; Карла-Артура смущало, что мать танцует, – и она перестала принимать участие в танцах. Когда, как обычно, в воскресный вечер в доме собралась молодежь, полковница с улыбкой объяснила: ей уже скоро пятьдесят, и отныне она танцевать не будет. Она даже не предполагала, как огорчит этим своих молодых поклонников. В утешение села за рояль и до полуночи играла вальсы и польки.

Карл-Артур приносил ей книги, которые она, по его мнению, должна прочитать, – и она читала, находя их поучительными и интересными. И все бы хорошо, если бы полковница смогла удовлетвориться высокопарными и нравоучительными пиетистскими проповедями. Но

---

<sup>16</sup> Сара Фредрика Торсслоу (1795–1859) – знаменитая шведская актриса.

она была дама образованная, следила за литературными новинками, и как-то раз ее сын заметил, что под молитвенником, который она якобы читает, лежит «Дон Жуан». Повернулся и вышел, не сказав ни слова. Ее это огорчило куда больше, чем если бы он разразился упреками. На следующий день она сложила все свои светские книги в сундук и приказала отнести на чердак, повторяя про себя волшебные строфы лорда Байрона.

Короче, полковница делала все, что в ее силах, чтобы не мешать новому увлечению сына. Дама она была очень неглупая и одаренная многими талантами, поэтому прекрасно понимала – пройдет. Со временем пройдет, и пройдет тем быстрее, чем меньше он будет встречать сопротивления. Дух противоречия быстро испаряется, если противоречить нечему.

К счастью, время было летнее. Все состоятельные граждане Карлстада разъехались на воды. Приемов почти не было. Развлекались долгими прогулками в лес, сбором ягод, катанием на лодках по особенно пригожей в это время года реке и игрой в салки.

К концу лета была намечена свадьба Эвы Экенстедт с ее подпоручиком, и полковница немного нервничала. Понимала, что вынуждена устроить настоящую, пышную свадьбу, иначе опять начнут перешептываться, что к дочерям она совершенно равнодушна, мало того, завидует их молодости. С другой стороны, как отнесется к этому Карл-Артур?

И тут она с тайным удовлетворением заметила: ее уступчивость принесла плоды. Карл-Артур не возражал ни против традиционных двенадцати блюд, ни против тортов и конфет, ни даже против привезенного из Гётеборга вина и других напитков. Согласился на венчание в соборе, согласился с гирляндами цветов по пути свадебного кортежа. На берегу расставили смоляные бочки, соорудили плотики для маршаллов<sup>17</sup>, подготовили фейерверк – Карл-Артур не возражал. Мало того, сам работал в поте лица вместе со всеми: плел венки, развешивал флажки.

Но вот что касается танцев на свадьбе, тут он был непреклонен. Никаких танцев. И полковница согласилась. Решила сделать мальчику приятное, ведь он так старался, трудился, делал все, о чем бы его ни попросили.

Хорошо, танцев не будет.

Полковник и дочери попытались протестовать. И что мы будем делать с молодыми офицерами гарнизона, с карлстадскими девушками? Для них же самое главное – возможность потанцевать ночь напролет, они же только это и предвкушают! Но полковница решительно возразила: Бог даст, вечер будет ясный, все пойдут в сад. Послушают полковой оркестр, посмотрят, как взлетают в небо шутихи и петарды. Полюбуются, как отражаются в черной воде тихо покачивающиеся на своих плотиках маршаллы. Будет так красиво, что никто и не вспомнит про танцы. И уж, конечно, куда достойнее и приличнее, чем скакать по паркету.

Полковник и дочери сдались – как всегда. Мир и покой в доме – что может быть важнее?

Наступил день свадьбы, и все шло без сучка и задоринки. Денек выдался превосходный, венчание было на редкость торжественным, за столом произнесено множество прекрасных тостов, из которых, разумеется, самым прекрасным был тост полковницы. Она написала очень красивое стихотворение, и его спели за столом под специально сочиненную капельмейстером музыку. Полковой оркестр играл марши, поражая гостей столичным разнообразием репертуара: к каждому блюду – новый марш. Особенно отличился трубач: запустил такую высокую ноту, какой в Карлстаде, наверное, и не слыхивали.

Гости, пока сидели за столом, наперебой хвалили еду, музыку, молодых и их родителей и пребывали в самом радужном настроении.

Но вот съеден праздничный обед, кофе выпит, уже поднялись из-за стола... и тут всеми овладело неодолимое желание потанцевать.

---

<sup>17</sup> *Маршалл* – большая свеча в жестяном стакане. По обычаю, их ставят у крыльца дома, где ждут гостей.

За стол сели в четыре. Все было хорошо и умело организовано, прислуживали бесчисленные служанки и лакеи, и в результате управились к семи, намного раньше, чем ожидала полковница. Может показаться странным: двенадцать перемен, тосты, застольные песни, марши, а застолье продолжалось всего три часа. Полковница втайне надеялась, что встанут из-за стола по крайней мере в восемь, но надежды не оправдались.

И что же? Времени всего семь часов. До полуночи гостей надо чем-то занять – раньше не разъедутся, можно и не мечтать.

Гостями овладело уныние. Пять долгих, скучных часов...

– Если бы потанцевать... – вздыхали они втихомолку.

Все уже знали печальную новость. Полковница на всякий случай предупредила загодя: танцев не будет.

И куда деваться? Час за часом сидеть за столом, как истуканы, и вымучивать темы для беседы.

Девушки, проходя мимо зеркал, грустно поглядывали на свои воздушные светлые платья, на белые шелковые туфельки – и то и другое создано для танцев. Надеялись, наверное, что полковница отменит свой странный запрет.

Думаю, все знают: когда надеваешь такое платье и такие туфельки, желание потанцевать возникает само собой. Ни о чем другом и думать не хочется.

И конечно, молодые лейтенанты Вермландского гарнизона – разве может кто-то превзойти их на балу? Нет и не будет партнеров желаннее. Зимой было много балов, и совсем непросто было выманить одного из этих красавцев на танец. Но сейчас, летом, не так уж много возможностей потанцевать, и лейтенанты сами с вождением поглядывали на юных фей. Их тоже можно понять: не часто увидишь в одном месте так много красивых девушек. Весь цвет Карлстада.

И что за странное решение? Собрать в одном месте молодых людей и юных красавиц и не позволить им потанцевать!

Заскучили не только молодые. Гости постарше охотно полюбовались бы, как веселится, скачет и кружится в танце молодая поросль. А так глянуть не на что. Что за нелепая прихоть? Музыка – лучший оркестр во всем Вермланде. Танцевальный зал – поискать. Уму непостижимо почему бы не поплясать?

И знаете, эта Беата Экенстедт, при всем своем несравненном очаровании, большая эгоистка. Думает только о себе. Наверное, посчитала, что ей-то самой в свои пятьдесят танцевать уже вроде бы неприлично, и теперь из-за нее молодые люди должны весь вечер подпираТЬ стены...

Полковница прекрасно чувствовала растущее недовольство. Для нее это было страшным испытанием. Она, славящаяся своими веселыми и щедрыми приемами, должна смириться с мыслью, что не только завтра, но и послезавтра, и через месяц, и через год будут вспоминать эту свадьбу с отвращением – мол, ничего тоскливее в жизни не видели.

Она постаралась пригласить известных в Карлстаде рассказчиков, сама изобретала остроумнейшие реплики – ничто не помогало. Ее не слушали. Даже самые скучные и невзрачные тетушки, обычно глядящие ей в рот, отворачивались. Наверняка судачат: ох уж эта полковница. Сама небось рада до обморока, что выдала дочь замуж, так почему бы не порадовать и гостей, не дать молодым поплясать? Да и не только молодым, мы бы тоже, глядишь, трягнули стариной.

Полковница подошла к молодежи, пошутила и предложила сыграть в догонялки. Лучше бы она этого не делала – они уставились на нее с таким недоумением, будто она им предложила соску или погремушку. Если бы она не была полковницей, если бы не ее слава известной по всей стране светской львицы, они бы засмеялись ей в лицо.

Объявили фейерверк. Кавалеры предложили дамам руки, и гости неохотно двинулись к берегу Кларэльвен. Рвались шутихи, со свистом взлетали в вечернее небо петарды, но многие даже головы не подняли. Давали понять, что никакие выдумки хозяйки не заменят им вожденных танцев.

И даже луна в этот вечер, словно бы в честь собравшегося общества, оказалась особенной – совершенно круглая и выглядела не как блин, а скорее как надутый шар. Какой-то остряк тут же предложил поостеречься: будьте внимательны, вот-вот лопнет от удивления. Подумать только, так много стройных лейтенантов и обворожительных красавиц, вместо того чтобы танцевать до упаду, должны стоять и глазеть на пустую игру огоньков в ни в чем не повинном небе и слушать вредную для ушей пальбу, от которой даже собаки прячутся в свои конуры. Вот так и приходят в голову мысли о самоубийстве.

Мало того, поглазеть на свадьбу дочери полковника Экенстедта собралась половина Карлстада. Стояли и смотрели, как вяло, еле передвигая ноги, прогуливаются гости и удивленно переглядываются: наверное, самая скучная свадьба из всех, что мы когда-либо видели.

Военные музыканты старались изо всех сил. Но поднять настроение даже им оказалось не под силу – полковница запретила играть танцевальную музыку. Боялась, что молодые не удержатся и пустятся в пляс, и тогда никакая сила на свете не сможет их остановить. Оставалось играть марши, а количество маршей, как всем известно, ограничено, поэтому приходилось повторяться.

Сказать, что время тянулось невыносимо долго, было бы неправдой. Оно вообще не тянулось – стояло на месте. Минутные стрелки на часах решили отдохнуть и двигались с такой же скоростью, как часовые, если не медленнее.

У берега, прямо напротив усадьбы Экенстедтов, зачалили на ночь несколько барж. И на одной из них сидел пьяный матрос и наигрывал на визгливой самодельной скрипочке.

Одуревшие от скуки гости встрепенулись. Какая-никакая, но все же музыка для танцев! Один за другим потянулись они к калитке сада и уже через пару минут лихо отплясывали деревенскую польку на шаткой, клейкой от смолы палубе старой, доживающей свой век баржи.

Полковница, само собой, заметила беглецов и решила: этого допустить нельзя. Не пристало самым красивым, самым именитым девушкам Карлстада плясать на грязной барже. Тут же отправила посыльного – хозяйка просит всех вернуться. Но никто, даже самый юный подпоручик, призыву не внял.

И она поняла: игра проиграна. Она сделала все, чтобы угодить Карлу-Артуру, но сейчас речь шла о большем. Теперь надо было спасти честь дома Экенстедтов. Полковница подошла к капельмейстеру, попросила музыкантов перейти в большой зал на втором этаже и сыграть англес.

Не прошло и минуты, как она услышала на лестнице топот ног. Истосковавшаяся молодежь, отталкивая друг друга, ворвалась в зал.

И начался бал, подобного которому никто и никогда в Карлстаде не видывал. И понятно почему – все те, кто долго и бесцельно бродил по саду, торопились наверстать упущенное. Они кружились, прыгали, парили в воздухе и делали замысловатые пируэты. Никто не выказывал ни малейших признаков усталости, никто не отказывался от приглашения, самые невзрачные девушки были нарасхват.

И даже те, кто постарше, тоже не могли усидеть на месте. Но самое главное, полковница, та самая полковница, которая запретила себе играть в карты, перестала танцевать, отнесла на чердак все светские книги, даже любимого Байрона, – полковница тоже не смогла устоять на месте и пустилась в пляс. Она едва ли не парила над полом, легко, изящно, непринужденно – и выглядела так же молодо, а правду сказать, даже моложе, чем ее дочь-невеста. Гости вздохнули с облегчением. Наконец-то они увидели их любимую полковницу такой, какой они ее знали: легкая, веселая, приветливая – настоящая королева бала.

Радость и веселье переполняли всех до одного, ночь ласкала лицо душистой прохладой, луна перестала дуться, и даже река заискрилась серебряной лунной рябью – все стало так, как и должно быть.

И самым лучшим доказательством, насколько заразительна и неудержима радость танца, стал не кто иной, как сам Карл-Артур. Он тоже не удержался от всеобщего веселья. До него внезапно дошло: в движении нет никакого греха. Нет и не может быть. Нет греха в музыке, и самое главное, нет греха в юношеской беззаботности. Она естественна. Можете быть уверены – если бы он хоть на секунду заподозрил танец в греховности, если бы он не казался ему по-детски веселым и безгрешным, он ни за что бы не пустился в пляс.

Но как раз в тот момент, когда Карл-Артур мастерски выполнял очередную фигуру англеза, он глянул на дверь и увидел белое, как мел, лицо, обрамленное черными волосами и черной же бородкой. Увидел обращенные на него в печальном удивлении красивые, кроткие глаза.

Он замер. Уж не видение ли это, не знак ли Господен? Нет-нет... в дверях и в самом деле стоял его друг и наставник, Понтус Фриман. Он обещал заехать к Карлу-Артуру, когда будет проезжать Карлстад, и надо же тому случиться, что приехал он именно в этот вечер.

Карл-Артур прижал руки к груди, извинился, поторопился к другу, и тот без лишних слов взял его за локоть и повел в сад.

## Предложение руки и сердца

Шагерстрём сделал предложение! Подумайте только – богатей Шагерстрём! Тот самый, из Большого Шёторпа!

Не может быть! Шагерстрём? Сделал предложение? Сплетни, должно быть.

Да! Сделал! Никакие не сплетни!

Кому?

Шарлотте Лёвеншёльд?

Как это могло случиться?

А вот как. Знаете церковь Креста Господня? В усадьбе тамошнего проста Шарлотта была вроде компаньонки у пасторши. И заодно помолвлена с пастором-адьюнктом.

Да знаем, знаем! А Шагерстрём при чем?

Шарлотта Лёвеншёльд – девушка веселая, быстрая, острая на язык. Несколько лет назад она поселилась в усадьбе – и словно свежий весенний ветерок ворвался в дом. Прост и его жена были люди очень немолодые, целыми днями бродили по дому неслышно и незаметно, будто собственные тени, но даже они оживились после ее приезда. А пастор-адьюнкт – что сказать о пасторе-адьюнкте? Тоненький, как тростинка, и такой набожный, что даже поесть толком не решался. Дни напролет посвящает службе, а по ночам стоит на коленях у кровати и плачет над своими непростительными, как ему кажется, грехами.

Можно сказать, и не будет преувеличением, Шарлотта Лёвеншёльд спасла его от неминуемой гибели от физического и морального истощения.

И что? Какое отношение этот начинающий священник имеет к...

Самое прямое. Молодой человек приехал в приход Креста Господня сразу после принятия сана. Профессия пастора была ему совершенно незнакома. И как вы думаете, кто ему помог? Конечно же Шарлотта Лёвеншёльд! Она прожила в пасторских домах чуть ли не всю жизнь и знала все обряды – как крестить, как читать проповеди, как отпевать усопших. Вскоре они полюбили друг друга, и вот уже пять лет как обручены. Чему тут удивляться?

Ну да, ну да... А при чем тут богатей Шагерстрём? Не забыли про Шагерстрёма?

Подождите... Сначала про Шарлотту. В ее характере можно назвать одну главную черту: желание помочь, устроить так, чтобы всем было хорошо. Едва обручившись с молодым адьюнктом, она узнала, что семья была очень недовольна его выбором профессии. Мать мечтала, что сын выдержит магистерский экзамен и останется в университете – профессором или, на худой конец, доцентом. Родители – люди весьма состоятельные и честолюбивые. А сын ни с того ни с сего выбрал карьеру деревенского священника, и это стало для них большим ударом. Они и после принятия сана уговаривали его вернуться в Упсалу, но каждый раз натыкались на твердый отказ. И тогда за дело взялась Шарлотта Лёвеншёльд. Ей удалось убедить жениха. Ученая степень никак не помешает, а, наоборот, поможет твоему духовному росту, сказала она.

Он вернулся в Упсалу и через четыре года головоломной зубрежки сдал кандидатский экзамен и получил звание магистра и доктора философии.

А Шагерстрём? Откуда взялся Шагерстрём?

Терпение, терпение... высшее достоинство – терпение. Шарлотта Лёвеншёльд пыталась уговорить молодого человека, что теперь он вполне может претендовать на должность преподавателя в гимназии, а жалованья гимназического преподавателя достаточно, чтобы они смогли пожениться. А если ему так уж припекло сделаться священником, никто не мешает через пару лет устроиться в какой-нибудь заметный приход, и не помощником, а вторым пастором, а потом и простым – такое случается сплошь и рядом, священники с докторской степенью на дороге не валяются. Наш прост в церкви Креста Господня – ближайший тому пример.

Но тут ее расчет не оправдался. Молодой человек уперся. Нет, я не хочу быть учителем, хочу служить Господу. И пойду обычным путем – пастор-адьюнкт, потом пастор, потом, может быть, прост.

И из Упсалы вернулся в свою церковь, церковь Креста Господня. Долгие годы учения, магистр, доктор философии, а жалованье – как у конюха.

А Шагерстрём?

Дойдем и до Шагерстрёма.

Думаю, любому понятно, что Шарлотте Лёвеншёльд, которая ждала своего суженого пять долгих лет, этого было мало. На жалованье адьюнкта семью не создашь. Но она все же обрадовалась, что жениха прислали именно в их приход. Он и жил тут же, в усадьбе, так что она встречалась с ним каждый день и втайне лелеяла надежду, что в конце концов уговорит его пойти преподавателем в гимназию. Ведь уговорила же продолжить образование и получить степень и звание!

Замечательно, так оно, наверное, и будет, но Шагерстрём...

А что Шагерстрём?

Ни Шарлотта Лёвеншёльд, ни ее будущий жених ни имели с Шагерстрёмом ровно ничего общего. Шагерстрём – человек другого сорта. Сын высокопоставленного столичного чиновника, он еще и женился на дочери крупного заводчика из Вермланда, получив в приданое рудники и перерабатывающие заводы – не меньше, чем на пару миллионов. Молодые поселились в Стокгольме и самое большее пару раз в год, и то летом, навевались в Вермланд. Но жена умерла в родах два года назад, и ребенок родился мертвым. Тогда безутешный вдовец переехал в свою усадьбу Большой Шёторп в приходе церкви Креста Господня. Он так тосковал по жене, что не мог заставить себя жить там, где прошли счастливые годы их брака. Жил бобылем, почти никому не наносил визитов. Чтобы убить время, занялся управлением своими заводами и перестройкой усадьбы. Теперь его усадьба красивее и роскошнее любой другой не только в приходе, а, может быть, и во всем Вермланде. Одиночество ему скрашивает бесчисленное количество слуг и управляющих... одним словом, живет, как *grand seigneur*.

А что сказать про Шарлотту? Она, конечно, понимала, что выйти замуж за такого богача не легче, чем достать с неба все семь звезд созвездия Плеяд и вставить в подвенечную диадему.

Но у нее, как говорится, что на уме, то и на языке.

Как-то раз в пасторской усадьбе были гости, довольно много приглашенных, и мимо усадьбы прокатило роскошное открытое ландо, запряженное четверкой вороных коней. Рядом с кучером стоял лакей в роскошной ливрее. Все, конечно, кинулись к окнам. Вот это да...

И тут во всеобщей восхищенной и, что уж там скрывать, завистливой тишине послышался голос Шарлотты:

– Вот что я тебе скажу, Карл-Артур. Ты мне, конечно, нравишься, но если Шагерстрём сделает предложение, я выйду за него.

Гости захохотали. Ну и девица! Ей до Шагерстрёма – как до луны. И жених тоже засмеялся. Большое дело – пошутила, хотела гостей развеселить. А сама она округлила глаза и приложила пальцы к губам – ах, что это я такое сказала? – чем вызвала новый взрыв смеха. Но кто знает – может, за этим и было какое-то намерение. Скорее всего, хотела напугать Карла-Артура, чтобы он все-таки пошел по учительской стезе и зарабатывать побольше.

А Шагерстрём, все еще не пришедший в себя после свалившегося на него горя, ни о какой женитьбе, разумеется, не помышлял. Он по-прежнему занимался своими рудниками и заводами, и вскоре у него появились новые знакомые и даже приятели. И приятели эти в один голос начали его уговаривать – а почему бы вам не жениться, патрон Шагерстрём? Он поначалу отшучивался – кто за меня пойдет, за такого сыча и меланхолика, со мной с тоски умрешь... хотя, думаю, тут не совсем все ясно. Может, отшучивался, а может, всерьез. И в том, и в другом случае слова его звучали убедительно, никто не возражал. И ведь правда – сыч и меланхолик.

Но вот однажды на званом обеде ему задали тот же вопрос, и в ответ на обычную отговорку кто-то из гостей в шутку возразил – а вот тут по соседству, в пасторской усадьбе, одна милая девушка сказала: уж если сам Шагерстрём сделает ей предложение, она моментально откажется от своего жениха и, не моргнув глазом, поскорее выйдет за этого самого Шагерстрёма замуж. Все засмеялись. Шутку и приняли как шутку, точно так же, как в усадьбе проста. Настроение – лучше некуда. Обед удался.

Но не зря говорят: в каждой шутке есть доля правды. Шагерстрём, между нами говоря, и в самом деле тяготился своим вдовством, хотя и гнал от себя подобные мысли. Слишком сильна была скорбь по безвременно ушедшей жене. Даже предположить, что кто-то может занять ее место, было невыносимо. И все же, все же... услышав рассказ про веселую девушку, Шагерстрём задумался. О том, чтобы жениться по любви, и речи не шло – он был уверен, что никогда и никого не полюбит. Но ведь можно жениться и по расчету. На простой, скромной девушке. На девушке, которая не будет претендовать ни на место в его сердце, ни на то положение в обществе, которое занимала его почившая жена благодаря немалому состоянию и сановой родне. И тогда брак вполне возможен. Он почему-то был уверен, что и его почившая жена не стала бы возражать. Подобный брак ее несколько бы не унизил.

В следующее же воскресенье Шагерстрём поехал в церковь – решил посмотреть на возможную невесту поближе. Та сидела рядом с пасторшей. Вполне обычная, более чем скромно одетая девушка. Но разве это помеха? Наоборот. Если бы она была ослепительной красавицей, у него бы и мысли не возникло. Он не мог допустить, чтобы у покойной жены возникли сомнения – уж не собирается ли он найти ей замену?

Шагерстрёма преследовал постоянный кошмар: ему казалось, почившая супруга следит за каждым его шагом.

Он смотрел на неприметную девушку и размышлял: интересно, как она поведет себя, если он предложит ей сделаться хозяйкой Большого Шёторпа? Его разбирало любопытство: как она примет такое предложение?

По дороге домой он попытался представить себе Шарлотту Лёвеншёльд в дорогом и красивом платье. И с удивлением понял, что мысль о повторном браке уже не кажется ему такой нелепой. Мало того, нежданно осчастливить бедную девушку, девушку, которая наверняка уже ничего хорошего от жизни не ждет, – в этом было что-то сказочно-романтическое, а романтика была Шагерстрёму вовсе не чужда. Но как только он это осознал, тут же отбросил всякие намерения. Недостойный соблазн. Шагерстрём всегда тешил себя мыслью, что жена оставила его ненадолго, и скоро они воссоединятся. Но воссоединятся они только в том случае, если он сохранит ей верность.

В ту же ночь он увидел жену во сне, и из этого сна его вынесла волна нежности. Открыл глаза, улыбнулся – и внезапно понял: опасения безосновательны. Любовь его жива, и ей ничто не грозит. Ничего страшного, если простая девушка поселится в его доме – она никогда не вытеснит образ любимой жены. А ему, по крайней мере, будет с кем поговорить и обсудить ежедневные жизненные надобности. Одиночество никого еще не спасало. Живая душа рядом – вот и все, что ему нужно. В его родне нет никого, кто бы подходил на эту роль, а домоправительница вдвое старше, и говорить с ней особо не о чем. Другого выхода нет – надо жениться.

В тот же день он тщательно оделся и приказал кучеру ехать в пасторскую усадьбу. За последние годы Шагерстрём жил очень одиноко, почти никому не наносил визитов, а к просту не удосужился съездить ни разу. Легко понять, как разволновались прост и простинна, когда к дому подкатило роскошное ландо, запряженное знаменитой на весь уезд четверкой вороных. Хозяева вышли навстречу и проводили Шагерстрёма в большой салон на втором этаже, где после короткого, но обязательного состязания в любезности Шагерстрём изложил дело, которое привело его в усадьбу.

Шарлотта Лёвеншёльд закрылась в своей комнатухе, но уже через несколько минут явилась пасторша и попросила прийти в салон – составить компанию высокому гостю. Ему, должно быть, скучновато с нами, стариками, с почти отошедшим от дел служителем Господа и его верной супругой.

Так и сказала: «Отошедшим от дел служителем и его верной супругой». Сказала странно – возбужденно и высокопарно. Шарлотта удивилась, но вопросов задавать не стала. Сняла фартук, окунула пальцы в рукомойник и пригладила волосы. После чего нашла в гардеробе чистый накрахмаленный воротничок и последовала было за пасторшей, но в последний момент вернулась и опять надела фартук, на ходу управляясь с завязками на спине.

Не успела она войти в салон и поздороваться с Шагерстрёмом, прост попросил ее присесть и обратился к ней с маленькой, как он сказал, а на самом деле довольно многословной речью – как всегда, похожей на проповедь. Он говорил, как много радости и домашнего уюта принесла она с собой в дом, упомянул ее многочисленные заслуги. Сказал, что Шарлотта Лёвеншёльд стала для них любимой дочерью и ему было бы очень жаль с нею расстаться. Но когда такой человек, как знаменитый заводчик Густав Шагерстрём, просит ее руки, он решительно отбрасывает эгоистические соображения, а от всей души советует принять предложение, поскольку оно намного лучше всего, что она могла бы для себя ожидать.

И ни словом не напомнил, что она уже обручена с его заместителем, пастором-адьюнктом. И понятно почему: и он, и его жена были против этого союза. Бедная девушка, такая как Шарлотта Лёвеншёльд, не должна цепляться за странного парня, который решительно отказывается что-то предпринять, чтобы обеспечить семье безбедную жизнь.

Шарлотта, не поведя бровью, выслушала горячую и убедительную речь проста. Тот решил, что она от радости лишилась дара речи, и, чтобы дать ей время прийти в себя, завел разговор о несметных богатствах патрона Шагерстрёма, его достойнейшем образе жизни, о заслуживающем подражания отношении к подчиненным.

Он ничего не придумывал, даже не льстил – все, что говорил прост, можно было услышать от множества людей: как только заходила речь о Шагерстрёме, все рассыпались в похвалах. И хотя Шагерстрём впервые посетил дом, пастор уже относился к нему как к лучшему из друзей. Легко понять, как рад он вручить судьбу своей неимушей дальней родственницы такому достойному и богатому человеку, как патрон Шагерстрём.

Шагерстрём не столько слушал комплименты в свой адрес, сколько исподволь наблюдал за Шарлоттой Лёвеншёльд. По мере того как говорил пастор, она все более выпрямлялась, а под конец откинула голову и углы рта шевельнулись в улыбке, которую можно было бы назвать презрительной или по крайней мере надменной. Голубые глаза потемнели и сделались темно-синими, как ночное небо.

Шагерстрём оцепенел. Шарлотта Лёвеншёльд оказалась настоящей красавицей, и гордая повадка ее вовсе не выказывала робость или смирение.

Очевидно, его предложение произвело на нее сильное впечатление, но какое именно – определить затруднительно.

Ждать долго не пришлось. Шарлотта дала просту закончить, покраснела и тихо сказала: – Хотелось бы узнать: известно ли патрону Шагерстрёму, что я помолвлена? – Да, конечно... – начал было Шагерстрём, но она оборвала его на полуслове: – Значит, известно... и в таком случае как вы осмелились? Как у патрона Шагерстрёма поворачивается язык делать мне такое предложение?

Она так и сказала: «*Как вы осмелились? Как у вас поворачивается язык?*», хотя прекрасно знала, кто перед ней: самый богатый и самый могущественный человек во всей округе. Она словно забыла, кто она и кто он. Полунищая компаньонка пасторши повела себя как истинная наследница знатного рода Лёвеншёльдов.

Прост и его жена чуть не упали со стульев от изумления. Шагерстрём удивился не меньше, но быстро взял себя в руки – он все-таки был истинно светским человеком.

Он подошел к Шарлотте Лёвеншёльд, обеими руками взял ее ладонь и осторожно пожал:

– Дорогая фрекен Лёвеншёльд, ваш ответ только усиливает симпатию, которую я испытываю к вам с того момента, как впервые вас увидел.

Поклонился хозяевам, поднял обе руки: нет-нет, что вы, ради Бога не беспокойтесь, провозжать меня не надо – и вышел из салона.

Старики восхитились спокойным достоинством речи и манер отвергнутого жениха. И будем честны – на Шарлотту его благородный ответ тоже произвел впечатление.

## Желания

Мало ли что, каждая может кого-то пожелать. Никто не мешает.

Но если при этом пальцем не пошевелить – и ждать нечего.

Если ты понимаешь, что неприметна, некрасива и бедна, а тот, кого ты так страстно желаешь, даже не смотрит в твою сторону, что ж, остается мечтать и желать, если так уж хочется. Хоть до второго пришествия.

А если ты замужем, если ты верная жена, слегка заражена пиетизмом и ничто не может склонить тебя к греху? Можешь желать что угодно – все равно останешься при своем.

Добавим: а если ты уже немолода, целых тридцать два, а предмету твоих желаний не больше двадцати девяти? Если ты неуклюжа и стеснительна, теряешься и не знаешь, куда себя деть в обществе... ой, ой... а если ты вдобавок жена органиста – конечно. Можешь носиться со своими желаниями с утра до вечера. Греха в том нет, но воплощения этих желаний ждать не приходится.

И если тебе кажется, что желания других легковесны и мимолетны, как дуновение ветерка, а твои – подобны урагану, способному двигать горы и даже, в случае чего, стряхнуть Землю с орбиты, забудь. Это игра воображения. На самом деле твои желания бессильны. Они бессильны сейчас и будут бессильны всегда.

А пока довольствуйся тем, что живешь недалеко от церкви и видишь его в окно почти каждый день. Радуйся, что каждое воскресенье слышишь его проповеди. Будь счастлива, что тебя иногда приглашают в пасторскую усадьбу и ты сидишь с ним за одним столом. Хотя проку с гулькин нос – ты настолько застенчива, что не можешь заставить себя хотя бы заговорить с предметом своих желаний.

А ведь между вами есть и другая связь. Вы связаны не только твоими желаниями. Может быть, он никогда об этом и не узнает, ты слишком робка, чтобы начать разговор, но связь эта есть. Ведь твоя мать – не кто-то, а сама Мальвина Спаак, служившая когда-то домоправительницей и экономкой в Хедебю у барона Лёвеншёльда. Когда Мальвине стукнуло тридцать пять, она поняла: ждать больше нельзя – и вышла замуж за небогатого фермера. Жизнь ее изменилась мало: по-прежнему трудилась с утра до ночи, только теперь не в чужом доме, а в собственном. Но с Лёвеншёльдами связи не теряла – иногда они сами заезжали повидаться, но чаще она подолгу гостила у них в Хедебю. То помогала печь хлеб на зиму, то дирижировала весенней уборкой – как замочить бочки для солений, как выбить и проветрить ковры, как перебрать и перестелить солому в коровнике. Для нее это было настоящей отдушиной, она возвращалась и с сияющими глазами рассказывала дочери о старых добрых временах, когда работала в Хедебю. Сколько всего там было! Она рассказывала и о призраке генерала, и о юном бароне Адриане, который хотел помочь предку обрести покой в могиле.

Ты, конечно, поняла, что мать была безнадежно влюблена в барона Адриана. Достаточно послушать, как она о нем рассказывала – такой честный, такой добрый, такой красавец! И эти мечтательные глаза, и это непередаваемое изящество в каждом движении!

Ты всегда думала, что твоя мать, как и всякая влюбленная женщина, преувеличивает достоинства своего избранника. Если верить ее описанию, сразу ясно: она видит перед собой идеал. Подобных молодых людей на свете не существует. Их попросту нет.

Но, оказывается, есть! Тебе довелось такого увидеть, но только после того, как ты вышла замуж за органиста и переехала с мужем в приход церкви Креста Господня. В первое же воскресенье он поднялся на кафедру. Нет, бароном он не был, всего-то пастор Экенстедт, но приходился племянником барону Адриану, тому самому Адриану, который так нравился твоей матери, и ты его сразу узнала. Очень красивое, как на старинных портретах, лицо. Стройный, грациозный, юношеская гибкая повадка, ласковая улыбка – и, конечно, глаза. Мать то и дело

говорила о глазах – глаза нельзя было не узнать. Огромные, добрые, мечтательные, с задумчивой поволокой глаза.

Тебе даже пришла в голову шальная мысль – уж не ты ли сама его сюда накликала? Так хотела поглядеть на избранника матери, так прониклась ее рассказами – и вот он. Любуйся, сколько влезет. Ты же прекрасно знала, что желания никакой плотской силы не имеют... а тогда откуда же он здесь взялся? Странно, странно... более чем странно.

Он не обращал на тебя никакого внимания. В конце лета обручился с этой задавакой Шарлоттой Лёвеншёльд и почти сразу уехал в Упсалу продолжать образование.

Вот и все, решила ты. Он исчез из твоей жизни навсегда и бесповоротно. Сколько ни мечтай, сколько ни желай, с этим покончено.

Но где там... Миновало пять лет, ты пришла в церковь – и что же? На кафедре стоял он, собственной персоной. И опять тебе показалось: если бы ты так сильно и так страстно не желала его появления, он бы и не появился. Ни за что.

Так что твои желания имеют немалую силу. Немалую – но ограниченную. Появиться-то появился, что да, то да, но по-прежнему не обращает на тебя никакого внимания. И по-прежнему обручен с Шарлоттой Лёвеншёльд.

Нет-нет, ты никогда не желала Шарлотте зла. И даже можешь поклясться на Библии – никогда не желала. Но иногда мечтала: вот бы Шарлотта влюбилась в кого-нибудь еще. Или богатый родственник пригласил ее в долгую заграничную поездку. Все что угодно, лишь бы каким-то безобидным и безболезненным способом разлучить ее с молодым Экенстедтом.

Ты жена церковного органиста. Прост почти всегда приглашает вас, когда собираются гости. И ты слышала дерзкое заявление Шарлотты – не пойдешь в преподаватели, выйду замуж за Шагерстрёма. Если сделает предложение – выйду.

После этого ты ночи напролет мечтала, чтобы Шагерстрём и в самом деле сделал Шарлотте предложение. Кто мешают мечтать – мечты все равно не сбываются.

Если бы желания людей имели хоть какую-то власть, на земле все было бы по-иному. Даже представить трудно! Все желают себе добра – само собой, никто себе зла не пожелает. Хотят избавиться от грехов, от болезней, от бедности. Да что там от болезней... не просто от болезней, даже смерти хотят избежать. Сбылись бы такие пожелания – и на земле не протолкнуться. Никто бы не умирал.

Нет, никакие желания силы не имеют. Как может желание одного человека изменить назначенный Господом порядок жизни?

\* \* \*

Но в один прекрасный летний день жена органиста увидела в церкви Шагерстрёма. Мало того, обратила внимание, что он занял место с таким расчетом, чтобы посматривать на сидящую с пасторшей на семейной скамье Шарлотту Лёвеншёльд. Пусть она покажется ему красивой и привлекательной! Господи, сделай так, чтобы она показалась ему *очень* красивой и *очень* привлекательной!

Она даже сжала кулаки: надо придать своему желанию больше силы и убедительности. Ведь я никому не желаю зла! Разве грешно пожелать девушке богатого жениха?

И весь этот день она провела как в лихорадке: ей казалось, завтра что-то произойдет. Ночью она не спала ни секунды, ее буквально подбрасывало на кровати все то же странное чувство: завтра что-то произойдет. На следующее утро – то же самое: все валилось из рук. Она целое утро просидела у окна. Сидела и ждала.

Почему-то ей казалось, что вот сейчас, сию минуту мимо пролетит ландо Шагерстрёма, но произошло нечто еще более странное.

К ней пришел Карл-Артур.

Можно понять: она чуть не захлебнулась от счастья. Но можно понять и другое: вряд ли кто-то удивится, что она, бедняжка, совершенно оцепенела от застенчивости.

Что делать? Просто поздороваться, скромно и достойно, как подобает замужней женщине? Сделать реверанс? Пригласить в дом?

Мы не знаем, что происходило в ее голове, но долго ли, коротко – он уже сидит на лучшем стуле в ее маленькой каморке, а она молча смотрит на него.

Никогда она не думала, что Карл-Артур выглядит так молодо. Сейчас, когда он был так близко, она не верила своим глазам. Она же постаралась разузнать все про его семью, знала, что он родился в тысяча восемьсот шестом году, значит, сейчас ему двадцать девять. Ни за что бы не дала.

Он очаровательно и серьезно, как всегда, объяснил, что именно привело его в ее дом. Оказывается, он только теперь узнал из письма матери, что она дочь той самой Мальвины Спаак, доброго гения Лёвеншёльдов, и очень жалеет, что не знал раньше. Как же вы сами не поставили меня в известность?

Она только теперь сообразила, почему он на нее не обращал внимания. Она-то была уверена, что он знает! Но от счастья не смогла выдать даже пары разумных слов – пробормотала что-то невнятное и бессмысленное. Настолько бессмысленное, что он вряд ли понял, что она хотела сказать.

И посмотрел на нее с удивлением: как может уже немолодая замужняя женщина быть настолько застенчивой?

Чтобы дать ей успокоиться, начал рассказывать про ее мать, Мальвину Спаак, про жизнь в Хедебю, о призраке генерала, о кошмарном перстне, наводившем страх на весь уезд.

Сказал, что хотя ему и трудно поверить в некоторые детали, во всем произошедшем в те времена он видит глубокий смысл. Для него этот перстень – символ всего земного, символ нелепой привязанности человека к плотской жизни с ее вечным призраком счастья и богатства. А эта привязанность, по его мнению, – непреодолимое препятствие для попадания в Царство Небесное.

Подумать только, Карл-Артур, предмет ее грез, постоянный гость бессонных ночей, сидит рядом и беседует с ней, как старый сердечный друг! И вновь ее захлестнула горячая волна... она едва не задохнулась от счастья.

Он, похоже, уже привык, что его тирады остаются без ответа, и продолжал говорить. А возможно, ему это даже нравилось.

Сказал, что постоянно вспоминает обращенные к богатому юноше слова Иисуса: «Продай имение твое и раздай нищим». И еще: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие!»<sup>18</sup>. И, по его мнению, всем бедам человеческим первопричиною вот что: люди любят созданное ими самими больше, чем Того, кто создал их самих.

Он остановился и повторил:

– Люди любят созданное ими самими больше, чем Того, кто создал их самих!

Она по-прежнему молчала, но в ее молчании было что-то такое, что подвигало его продолжать эту доверительную речь. Он признался, что у него нет никакого желания становиться простым в крупном приходе, высокий духовный сан его не привлекает. Ему не нужна шикарная усадьба с большим земельным наделом, с церковными архивами за триста, а то и больше лет – что ему делать со всем этим хозяйством? Он мечтает о крошечном деревенском приходе, где у него было бы время заняться самосовершенствованием, спасением своей души. Зачем ему усадьба? Вполне достаточно маленького серого домика в глуши, но важно, чтобы из окна

---

<sup>18</sup> Мф. 19:21, 19:24.

открывался красивый, умиротворяющий вид – пусть дом построят в березовой роще на берегу моря. Или озера, на худой конец. А жалованье... что ж, жалованье; главное – не голодать.

Она постепенно поняла, что его волнует. Он хочет своим примером показать людям путь к истинному счастью. Ею овладел почти молитвенный восторг: она никогда не встречала подобных людей. Юность и душевная чистота – в святом, но, увы, таком редкостном союзе. Как будут любить его прихожане в этом его воображаемом крошечном приходе!

Но тут ей показалось, что нарисованная им пасторальная картина плохо соотносится с тем, что она слышала совсем недавно. И решила внести ясность.

– Может быть, я ослышалась, – сказала она робко. – Но мы недавно были в усадьбе господина проста, и ваша невеста сказала, что господин адъюнкт собирается искать место преподавателя в гимназии.

Гость вскочил со стула, будто подброшенный пружиной, и начал мерить шагами ее каморку.

– Шарлотта так сказала? Вы уверены, что она сказала именно так? Он спрашивал с таким неожиданным напором, что она даже испугалась.

Но сразу взяла себя в руки:

– Насколько мне помнится, так она и сказала. Именно так.

Карл-Артур внезапно покраснел – щеки сделались совершенно пунцовыми. Будь на его месте кто-то другой, она бы решила, что ее собеседник разозлился.

Она пришла в ужас. Чуть не упала перед ним на колени – вымолить прощение. Она же и предположить не могла, что его так взволнуют ее слова! Просто хотела спросить... Что сделать, чтобы сгладить свою ошибку?

Она нервно потеряла ладони. Вдруг услышала шум и по привычке повернулась к окну. Мимо промчалось ландо Шагерстрёма. В другое время она бы задумалась – куда это он, интересно, наострил лыжи? Неужели? Да нет, вряд ли. К тому же сейчас ей было не до Шагерстрёма. А Карл-Артур даже и внимания не обратил. Продолжал мерить шагами ее комнатушку с самым суровым видом.

Наконец он перестал метаться, подошел к ней и протянул руку для прощания. Господи, ну почему он уходит?... И это ее вина. Она готова была откусить себе язык – зачем ей понадобилось прерывать его дурацким вопросом? Испортила настроение, и не кому-то, а Карлу-Артуру, герою ее бессонных ночей.

Но что теперь сделаешь? Ничего. Слово не воробей. Остается пожать руку. Остается проводить взглядом.

Почему пожать? Она склонилась, поднесла его руку к губам и поцеловала.

Он вырвал руку и с удивлением уставился на нее.

– Я только хотела... попросить... попросить прощения, – заикаясь, пролепетала она.

В ее глазах появились слезы, и он понял, что чем-то ранил эту славную женщину. Он не может просто так уйти. Надо как-то объяснить ей причину своего гнева.

– Представьте себе, фру Сундлер, что вы добровольно завязали себе глаза. Вы завязали глаза, вы ничего не видите, и вот вы доверили другому, очень близкому вам человеку быть вашим поводырем. И представьте: повязка случайно упала с ваших глаз, и вы увидели, что перед вами пропасть... пропасть, фру Сундлер! Тот, кому вы доверяли больше, чем самому себе, ваш друг, ваш поводырь, привел вас на край бездны... еще шаг – и вы погибли. Неужели вы бы не сокрушались, обнаружив такую измену?

Он произнес все это на одном дыхании и, не дожидаясь ответа, вышел в сени.

Тея Сундлер робко прислушивалась к его шагам... он уходит. Нет... остановился? Вышел во двор и остановился. Может, решил вернуться? Или совсем расстроился? Подумать только – всего несколько минут назад, когда он появился на ее пороге, он был счастлив, вдохновенно

рассказывал о своих планах на жизнь. А уходит в гнев и отчаянии. Она, ни о чем не думая, выскочила во двор.

Он увидел ее и тут же начал говорить. Его опять накрыла волна вдохновения, и он был рад слушателю.

– Смотрю на эти розы, которые вы с таким вкусом и так заботливо посадили у входа, дорогая фру Сундлер. Смотрю и спрашиваю себя: не самым ли прекрасным было это лето в моей жизни? Подумайте сами: сейчас конец июля, тепло, но то, что было в июне, почти совершенство. Длинные, светлые дни... кажется, длиннее и светлее, чем в предыдущие годы. Было жарко, да, но жара никого не удручала, потому что дул легкий, освежающий ветерок. И земля не страдала от засухи, как в другие годы, – чуть ли не каждую ночь шли теплые летние дожди. Посмотрите, как разрослось все вокруг! Вы заметили, столько листьев на березах? А цветочные клумбы в садах – никогда не видел такой роскоши, как в этом году. Готов настаивать: земляника никогда не была такой сладкой, птичье пение никогда не было настолько зазывно-мелодичным... и люди, пожалуй, никогда не были так веселы и счастливы, как этим летом.

Он замолчал, переводя дух. Тея Сундлер приказала себе молчать – не дай Бог опять помешать его красноречию. Вспомнила мать – теперь она понимала, что та чувствовала, когда молодой барон Адриан заходил в кухню или молочную и доверчиво изливал ей душу.

– А по утрам, в пять часов, я смотрю в окно и ничего не вижу, кроме измороси и тумана. Кажется, весь мир полон дождем – капли его выбивают еле слышную дробь на крыше, на откосах окон, на траве, это даже не шум, а томительный, загадочный шорох. Цветы склонили головки под тяжестью струй. Все небо занято тучами... подумайте – ни единого просвета! Они, кажется, не висят в воздухе, как полагается тучам, а ползут по земле. «Вот и все, – думаю я. – Лету пришел конец. Может, оно и к лучшему».

И хотя я каждый раз почти уверен, что так оно и есть, лету пришел конец, но, оказывается, нет. В пять минут шестого дождь, как по команде, прекращается. Уже не слышно его монотонного бормотания... правда, водосточные трубы еще журчат несколько секунд по инерции, а потом и они смолкают. Самая тяжелая, самая угрюмая туча открывает занавес – и надо же: открывает его как раз там, где стоит невидимое пока солнце, и поток света, немислимый еще пять минут назад, швыряет на мокрую от дождя траву драгоценную алмазную россыпь. Поднимающийся от горизонта серый, безнадежный туман превращается в нежную голубоватую дымку, цветы гордо поднимают склоненные головки. Наше маленькое озеро, край его виден из моего окна, уже не серое, как солдатская шинель, оно сверкает, будто на него мановением руки накинули вуаль из солнечных искр, будто тысячи золотых рыбок всплыли на поверхность и поворачиваются с боку на бок, подставляют сверкающую чешую расшалившему солнцу... Красота эта трогает меня до слез, фру Сундлер... я настезь открываю окно, полной грудью вдыхаю наполненный сказочными ароматами и несравненной утренней свежестью воздух и восклицаю в умилении: «О, Господи, ты сделал этот мир слишком прекрасным!»

Молодой помощник пастора прервал свой монолог, улыбнулся и пожал плечами, точно извиняясь. Наверное, подумал, что новая знакомая обескуражена вспышкой красноречия.

И поторопился объясниться:

– Да... когда я сказал, что хорошо бы лето кончилось, я именно это и имел в виду: хорошо бы, чтобы лето кончилось. Я боялся и сейчас боюсь, что этот изумительный, роскошный подарок природы отвлечет меня от главного, заставит полюбить все земное. Не раз призывал я Господа, чтобы Он прекратил этот соблазн, чтобы послал засуху, зной, ураган, громы, молнии, бесконечные дожди и зябкие, сырые ночи, ведь мы привыкли... так бывает почти каждый год.

Тея Сундлер внимала каждому слову и поначалу пыталась сообразить: куда он клонит? А потом решила: неважно. Лишь бы говорил – ей казалось, она никогда не устанет от неслышанно мягкого, бархатного тембра его голоса, от поэтической речи, от выразительного, прекрасного лица, на котором так быстро менялись эмоции.

– Или нет... скорее, не понимаете. Наверное, природа не имеет над вами такой власти, она не говорит с вами своим тайным языком. Она никогда не спрашивает вас, как спрашивает меня: почему ты не следуешь моим законам? Почему не наслаждаешься с благодарностью моими дарами? Почему не стремишься к счастью? Оно же совсем рядом – только протяни руку! Построй дом, женись на своей любимой! Почему ты не берешь пример со всего живого? Так поступают все живые существа этим благословенным летом...

Он приподнял шляпу и тыльной стороной ладони вытер вспотевший лоб.

– И... о чем я? Да... это волшебное лето заключило союз с Шарлоттой. Меня опьянила всеобщая нега, я словно ослеп. Шарлотта наверняка заметила, как с каждым днем растет моя любовь к ней, как я жажду ею обладать... о, вы же ничего не знаете. Я расскажу вам. Каждое утро в шесть часов я покидаю мой флигель и иду в большой дом пить кофе. В большом, светлом зале все окна открыты, воздух наполнен дыханием сада. Меня встречает Шарлотта. Веселая, как птица... и мы пьем кофе. Пьем вдвоем, она и я. Прост и пасторша встают позже. Вы, наверное, думаете, она пользуется такими случаями, чтобы поговорить о нашем совместном будущем? Ничего подобного. Она говорит о моих нищих, бездомных, о больных прихожанах, о том, что именно в моих проповедях произвело на нее самое сильное впечатление. То есть ведет себя как настоящая жена пастора. И про возможность этой злополучной учительской карьеры она если и упоминала, то мимоходом, самое большее два или три раза. И то, как мне казалось, больше в шутку. День за днем она становилась мне все более дорога, и когда я возвращался за свой рабочий стол, никак не мог взяться за дело – думал о Шарлотте. Да... я уже рассказывал вам, какой мне видится моя жизнь. Моя любовь, мечталось мне, поможет Шарлотте избавиться от ее заблуждений, от мирских оков, и она последует за мной в тот маленький серый домик... Ну да, я уже упоминал о своей мечте.

И тут Тея Сундлер не смогла удержаться от восклицания. Она даже хотела что-то сказать, но он жестом остановил ее.

– Да-да, вы правы. Я был слеп. Шарлотта привела меня на край бездны. Она только ждала удобного момента, чтобы заставить меня подать прошение на должность гимназического учителя. Она, безусловно, заметила, как действует на меня это волшебное, это коварное лето. И уже была уверена, что достигнет цели; а сказала она это только для того, чтобы подготовить вас и других к тому, что я собираюсь переменить жизнь и стать учителем гимназии. Но Бог меня защитил.

Он вдруг подошел совсем близко. Наверное, прочитал на ее лице радость и волнение, которое она испытывала от его слов. Но это неожиданно привело его в ярость – подумать только, она наслаждается его страданием! Его красивое, нежное лицо сделалось злым и неприязненным.

– Только не думайте, что я благодарен вам за ваше напоминание, – чуть не скрипнув зубами, сказал он.

Тея оцепенела.

Он сжал кулак и помахал перед ее лицом:

– Да, вы сорвали повязку с моих глаз, но я вовсе не собираюсь вас благодарить. Напротив. Вы не дали мне упасть в бездну, но я вас ненавижу и не хочу больше видеть!

И ушел по узкой тропинке, ни разу не повернувшись. А несчастная Тея Сундлер вернулась в свою комнатенку, бросилась на пол и зарыдала так, как не рыдала ни разу в жизни.

## Пасторский сад

Если идти так, как шел Карл-Артур, от дома органиста Сундлера до пасторской усадьбы – пять минут, не больше. Но сколько он за эти пять минут успел передумать, сколько гордых и горьких фраз родилось в его голове! Как только увидит свою невесту, все ей выскажет.

Все, бормотал он, настал час. Меня ничто не остановит. Сегодня же все решится. Сегодня же! Она должна понять... она не может не понять! Как бы я ее ни любил, ничто не может заставить меня преклоняться перед земными соблазнами, ничто! А она к ним только и рвется. Мой долг и мой путь – служить Богу. Если она не хочет разделить со мной этот путь, я вырву ее из своего сердца.

Он шел, время от времени гордо встряхивая головой, будто отрицая какие-то недостойные компромиссы, и ясно чувствовал, как приходят сами по себе, без обдумывания, нужные слова. Слова, способные не только убедить, разжалобить, повести за собой, но и раздавить и сокрушить. Будто открылась дверь в тайник, в волшебный сад в его душе, сад, о существовании которого он до этой минуты даже не подозревал. В саду этом пышно ветвилась виноградная лоза, цвели невиданные торжественные цветы, но это были не цветы и не гроздья, это были совершенные по форме слова и фразы – мудрые, святые, грозные, убедительные. И, оказываясь, ему достаточно просто войти в этот сад и распоряжаться – несметное богатство принадлежит ему и только ему.

Он даже рассмеялся от наслаждения. Он-то, кляня самого себя, сидел и корпел над своими проповедями, выучивал чужие слова и никогда не был уверен, что именно эти слова – нужные. А оказывается, все это время в душе его таилось великое богатство...

А Шарлотта... она все время пытается им управлять. Но теперь все изменится. Все изменится. Говорить будет он, а она будет слушать и следовать за ним, куда он прикажет. Она будет смотреть ему в рот и внимать каждому слову. Так же, как жена органиста.

Предстоит, разумеется, борьба, и нелегкая борьба, но он не отступит ни на шаг.

– Скорее я вырву ее из моего сердца. – Он вслушался, как звучат эти слова, и с немного испугавшим его наслаждением повторил: – Вырву из сердца!

Карл-Артур подошел к усадьбе, взялся за рукоятку калитки и замер: слуга с трудом открыл тяжелые ворота, и из усадьбы выехал... даже не выехал, а вылетел элегантный экипаж, запряженный четверкой вычищенных до горячего блеска статных вороных коней.

Он сразу понял: приезжал патрон Шагерстрём – и тут же вспомнил. В усадьбе были гости, пили кофе, и Шарлотта, глядя на промелькнувшее ландо, пошутила: если Шагерстрём сделает ей предложение и если Карл-Артур не пойдет в учителя, она даст согласие. Тогда он рассмеялся, а сейчас вздрогнул, как от удара грома, – что здесь делал Шагерстрём? Приезжал свататься к его невесте?

Предположить такое можно только вопреки всем доводам разума, но сердце все же ёкнуло. Почему? Может быть, потому, что Шагерстрём как-то странно глянул на него, выезжая на проселок? И вправду странно: то ли с любопытством, то ли с состраданием...

И вдруг пришла уверенность: так и есть. Шагерстрём сделал Шарлотте предложение. В глазах потемнело. Карл-Артур почувствовал такую слабость, что пришлось приложить немало усилий, чтобы отворить не особо тяжелую калитку.

Шарлотта дала Шагерстрёму согласие. Он ее потерял. Потерял навсегда, и теперь остается только умереть...

Его охватило отчаяние. И тут он увидел Шарлотту. Она спустилась с крыльца и поспешила к нему. Порозовевшие щеки, веселый блеск в глазах, на губах – победительная улыбка. Хочет, видно, его порадовать – сообщить, что выходит замуж за самого богатого мужчину в приходе.

Какое бесстыдство! Он топнул ногой и сжал кулаки:

– Не подходи ко мне!

Она опешила и остановилась. Какое бесстыдство и какое самообладание! Ей надо было идти в театр. На лице ничего не отразилось, кроме удивления.

– Что с тобой?

– Тебе лучше знать, – собрав все силы, звенящим шепотом произнес он. – Что здесь делал Шагерстрём?

И тут она поняла – Карл-Артур сообразил, зачем приезжал Шагерстрём, и решил, что она согласилась на его предложение. Шарлотта подошла вплотную к жениху и подняла руку. Он невольно отшатнулся – испугался, что ударит. Глаза ее потемнели от гнева.

– Вот оно что... Значит, ты, как и другие, считаешь, что я способна нарушить слово ради звона золотых побрякушек...

Посмотрела на него с граничащим с брезгливостью презрением, повернулась и пошла прочь.

Слава Богу... худшие подозрения не подтвердились. К нему вернулись силы, сердце забило ровнее, и он двинулся за ней.

– Но он сделал тебе предложение? Или нет? – крикнул он вслед.

Шарлотта не удостоила его ответом. Даже не обернулась. Прошла мимо крыльца, выпрямила спину и направилась к узкой тропинке через кустарник, которая вела в сад.

До него дошло – у нее были все основания обидеться. Неужели она и в самом деле отказала Шагерстрёму? Какой благородный, величественный жест!

Он попытался загладить вину.

– Ты бы видела его физиономию! – крикнул вдогонку. – По физиономии никак не скажешь, что он получил от ворот поворот.

Она не ответила, только выпрямилась еще больше, откинула голову и посмотрела на небо. Ей ничего не надо было говорить – этим жестом все сказано.

*Не подходи. Я иду в сад, потому что хочу побыть одна.*

Он ругал себя на чем свет стоит. Она отказалась от несметного богатства, от роскошной жизни – и все ради него, пасторского адьюнкта.

– Шарлотта! Шарлотта, любимая!

Она, не поворачиваясь, покачала головой и свернула на садовую аллею.

Ах, этот сад, этот пасторский сад... можно ли найти другое место, хранящее столько памяти об их встречах, о драгоценных всплесках сердечной привязанности и любви...

Заложен в манере, которую принято называть французской: множество пересекающихся троп, густо обсаженных кустами разнообразной сирени, в которых тут и там открывались узкие проходы, ведущие в укромные зеленые беседки, а в беседках устроены засаженные травой дерновые ступеньки, очень похоже изображающие диванчики. Или вы попадаете на изумрудно-зеленый коврик ухоженного газона, а в центре его красуется роскошный розовый куст. Сад небольшой, да и образцовым его не назвать, но уютен до крайности. А главное, всегда можно укрыться, когда хочется побыть наедине.

Карл-Артур поспешил за Шарлоттой, но она по-прежнему шла, не оборачиваясь, с гордо выпрямленной спиной. А когда-то, в этом же саду, смеясь, бежала ему навстречу... неужели он потерял все это навсегда?

– Шарлотта! – внезапно осипшим голосом крикнул он.

Должно быть, было что-то в его зове... она остановилась. Не посмотрела на него, даже головы не повернула – но остановилась. Остановилась и замерла.

Он подбежал, обнял ее, поцеловал в шею, взял за руку и потянул в беседку. Упал на колени и начал сбивчиво объяснять – она даже не представляет, как он восхищается ее мужеством, ее храбростью, ее верностью. Шарлотта недоверчиво слушала его излияния. Что с ним?

Откуда этот пыл, откуда эта страсть? Он всегда держал ее на расстоянии, был очень сдержан, если не сказать холоден. И Шарлотта понимала почему и даже прощала: для Карла-Артура она олицетворяла полный соблазнов греховный мир, и он пытался отгородиться от него неприступной крепостью аскетизма и кротости.

Но что с ним произошло? А вот что: он внезапно осознал, что не он, а она куда больше преуспела по части преодоления мирских соблазнов. Ради него она отказалась от богатства, от роскошной жизни. От всего, о чем мечтает каждая женщина.

Шарлотта попыталась рассказать поподробнее про визит Шагерстрёма, но куда там! Он ничего не слушал, едва она начинала говорить, закрывал ей рот поцелуями.

Пришлось его немного оттолкнуть, а когда она выговорилась, он обнял ее, и они долго сидели не шевелясь, очарованные нестерпимым блаженством примирения.

И куда делось его тщательно заготовленное красноречие? Куда делись суровые и исполненные достоинства слова, которыми он собирался поставить ее на место? Он забыл их произнести, мало того, еще несколько минут назад восхищавшая его архиепископских пропорций риторика потеряла всякий смысл. Он любил Шарлотту, хотя боялся исходящих от нее искушений, но теперь твердо знал: Шарлотта не опасна. Она вовсе не рабыня мамоны, как он боялся. Подумать только, ради того, чтобы остаться ему верной, она решительно отвергла предложенные ей несметные дары...

Шарлотта полулежала в его объятиях, на губах ее играла загадочная улыбка. Или счастливая – но разве это не одно и то же? Счастье всегда загадочно и непостижимо. Она и вправду счастлива, но о чем она думает? Может, постановила для себя, что ничего главнее и победительнее любви на свете нет? А может, решила раз и навсегда прекратить разговоры о его карьере – эти разговоры чуть не привели их к разрыву.

Шарлотта молчала, но ее молчание было так выразительно, что он без труда прочитал ее мысли.

*Важно, что мы вместе. Я не ставлю никаких условий, я ничего не требую, кроме твоей любви.*

Ну нет. Он не позволит ей превзойти себя в благородстве. К тому же он знал, чем ее обрадовать. Теперь, когда он убедился в ее бескорыстии, в ее любви, Карл-Артур решил отплатить той же монетой.

*Сегодня же начну искать место, которое позволит нам жить, не думая о куске хлеба.*

Он не произнес эти слова вслух, только подумал. Но знаете, бывают такие минуты, когда ничего не надо говорить. И, наверное, вот она, одна из таких редких минут.

Неужели она услышала его мысли? Услышала его обещание?

А он... Всего несколько минут назад суровая, логически безупречная отповедь выстраивалась сама по себе, а сейчас ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы робко выдавить: – Ах, Шарлотта... смогу ли я когда-нибудь отблагодарить тебя за твою жертву?

Она склонила голову на его плечо и спрятала лицо.

– Любимый друг... – услышал он ее шепот. – Я ни секунды не сомневаюсь, что сможешь.

*Сможешь? Сможешь отблагодарить?* Что она имеет в виду? Проще всего подумать – ах, я не желаю никакой благодарности, кроме твоей любви? Но почему склонила голову, почему не смотрит ему в глаза? Считает, что он должен отблагодарить ее за то, что выходит за него замуж, несмотря на его нищету? За то, что сохранила ему верность? Он, в конце концов, пастор, доктор философии, сын известных и уважаемых родителей... он всегда стремился честно исполнять свой долг, его проповеди привлекают все больше паствы, его образ жизни служит примером для многих... неужели она и в самом деле считает, что принесла такую великую жертву, отказав Шагерстрёму?

Он приказал себе успокоиться. Нет-нет, она, разумеется, ничего такого не имела в виду. Но все же надо попытаться кротко и незаметно узнать, что она хотела сказать этим «сможешь отблагодарить»... хотя... нет, он же сам вложил эти слова в ее уста.

– Что ты имела в виду – отблагодарить? Ты же знаешь, у меня нет ничего, что я мог бы тебе предложить, кроме моей любви.

Она слегка прижалась к нему и прошептала в ухо:

– Ты себя недооцениваешь, мой друг. Ты мог бы стать настоятелем собора или даже епископом.

Он дернулся так резко, что она чуть не упала.

– Вот, значит, в чем причина... ты отказала Шагерстрёму, потому что рассчитывала стать женой настоятеля или епископа... Да?

Она посмотрела на него странно, будто только что проснулась.

Ну да, что же еще... скорее всего, и вправду задремала и во сне выдала свои тайные планы. Но... почему она молчит? Считает, что его вопрос не требует ответа?

– Я спрашиваю – почему ты отказала Шагерстрёму? Хотела стать женой епископа?

Ее щеки порозовели, но она по-прежнему молчала.

Он так и знал! Раскаленная кровь Лёвеншёльд бросилась ему в лицо.

– Я еще раз спрашиваю... ты меня не слышишь? Ты отказала Шагерстрёму, чтобы стать женой настоятеля или епископа?

Шарлотта резко вскинула голову. Он оцепенел – такой холодной яростью налились ее глаза.

– Само собой. Разумеется, – презрительно процедила она.

Он встал. Ответ подкосил его, но он невероятным усилием воли постарался скрыть удар. Незачем показывать свою боль такому испорченному созданию, как Шарлотта. Но все же, чтобы потом себя не упрекать, он сделал еще одну попытку вернуть заблудшую овцу на путь истинный.

– Дорогая Шарлотта... нет слов, чтобы выразить мою благодарность за твою искренность. Теперь я понял, что для тебя важнее всего суетный внешний лоск. Беспорочная жизнь, верное служение Иисусу, моему Учителю, для тебя не имеет никакого значения.

Мягкие, кроткие слова. Он с нетерпением ждал ответа.

– Дорогой Карл-Артур, твои несравненные достоинства невозможно переоценить, и я их прекрасно осознаю и ценю. Хотя, конечно, не ползаю перед тобой в пыли, как тетки в нашей церкви. Они чуть не дерутся за право поцеловать твою беспорочную руку.

А вот это уже грубость.

Шарлотта хотела уйти, но он схватил ее за руку и удержал. Этот разговор нельзя повесить в воздухе, он должен расставить все точки над «i».

Когда Шарлотта съехидничала насчет теток в церкви, он вспомнил слова фру Сундлер, и злость заклокотала в душе с новой силой.

И опять открылась дверь в тайный сад души с бесконечными гроздьями убедительных и ярких слов.

И заговорил он так же – ярко и убедительно. Он обличал ее пагубное пристрастие к мирскому, ее гордыню, ее жалкое тщеславие.

Но она его не слушала.

– Это, наверное, из-за своей мерзости и зловредности я отказала заводчику, – холодно напомнила она.

Какое бесстыдство!

– Боже мой, что за испорченное создание! Ты же сама призналась, что отказала ему потому, что быть женой настоятеля или епископа почетней, чем женой заводчика, пусть даже очень богатого.

Но в душе его вдруг зазвенела тревожная струнка. Зачем он это говорит? Он же прекрасно знает, как горда Шарлотта. Она ни за что не станет оправдываться – пусть думают, что хотят.

Но он уже не мог остановиться. Каждое слово Шарлотты только подтверждало ее глубокую внутреннюю испорченность. Только послушайте, что она ему сказала!

– Милый Карл-Артур, стоит ли относиться всерьез к каждому моему слову? Я пошутила. Ты же сам прекрасно знаешь: ни настоятелем, ни епископом тебе не стать. Не по зубам.

Он и до этого чувствовал себя оскорбленным, но теперь просто ослеп от ярости. Он уже не прислушивался к осторожно тренькающей в глубине души струнке – *остановись, пока не поздно...* У него задрожали руки, кровь пульсировала в ушах тяжелыми, шумными ударами. Эта женщина доведет его до сумасшествия.

Карл-Артур понимал, что ведет себя странно: голос срывается на крик, он воздевает руки к небу, точно призывая громы и молнии обрушиться на ее голову. Странно, более чем странно, а может, и смешно, но он не делал ни малейшей попытки взять себя в руки. Омерзение – вот верное слово; она вызывает у него омерзение. Такое омерзение, что слов недостаточно. Он чувствовал яростную необходимость подтвердить жестами то, что испытывает.

– Твоя низость не знает границ! – едва ли не завизжал он. – Я вижу тебя насквозь! Никогда, слышишь, никогда я на тебе не женюсь! Это означало бы пасть в ту же бездну низости и испорченности!

– Все же какая-то польза была и от меня, – холодно усмехнулась она. – Если бы не я, тебе бы не видать звания магистра и доктора философии как своих ушей.

После этой ехидной фразы в нем что-то произошло. Его ответ удивил его самого. Словно бы вместо него говорил кто-то посторонний, а он с недоумением слушал страшные и обидные слова.

– Вот оно что! Фрекен Шарлотта хочет сказать, что она ждала меня пять лет и теперь я обязан на ней жениться? Как бы не так! Я женюсь только на той, на кого мне укажет Бог!

– Не тебе говорить о Боге, – тихо сказала Шарлотта. – Бог милостив и справедлив.

Он поднял голову, отчаянно вскинул руки и молитвенно посмотрел на небо, словно стараясь увидеть – не подаст ли Господь ему знак?

– Да, да, да! Пусть Бог выберет мне невесту. Так и будет. Я женюсь на первой же встречной незамужней женщине!

Шарлотта вскрикнула, сделала шаг к нему, схватила судорожно поднятые руки и попыталась их опустить:

– Нет, Карл-Артур! Карл-Артур! Опомнись!

– Не подходи ко мне! – пронзительно закричал он.

Представьте только, она не поняла силу его гнева. И даже попыталась его обнять.

Он издал вопль отвращения и оттолкнул ее с такой силой, что она споткнулась и села на земляную ступеньку. И помчался куда глаза глядят.

## Разносчица из Даларны

19

Когда Карл-Артур впервые увидел усадьбу проста в приходе Креста Господня, ему пришла в голову мысль: именно так и должна выглядеть усадьба сельского священника – мирно и гостеприимно. Но при этом внушать почтение. Усадьба стояла довольно близко к тракту, к ней вела аллея, обсаженная вековыми, как и полагается в старинных имениях, липами. Зеленый забор, внушительные ворота и белая резная калитка, через которую можно видеть круглую клумбу, посыпанные гравием дорожки и длинный, выкрашенный красной фалунской краской двухэтажный дом с двумя одинаковыми флигелями: справа – для пастора-адьюнкта, слева – для семьи арендатора.

И каждый раз, когда он смотрел на постоянно обновляемые газоны, на геометрически правильные клумбы, где все растения одинаковой высоты и посажены на одинаковом расстоянии друг от друга, на дорожки, где гравий разных цветов уложен в причудливый орнамент, на дикий виноград на крыльце, на умело драпированные шторы на окнах – ни одного окошка без шторы, – каждый раз ему казалось, что лучших символов скромного благополучия и достоинства и придумать невозможно. Все, все обитатели такой усадьбы должны понимать свой долг: в подобном месте надо жить честной, разумной, спокойной и порядочной жизнью.

И никогда даже вообразить не мог, что именно он, магистр и доктор философии Карл-Артур Экенстедт, в один прекрасный день выбежит из усадьбы в съехавшей набок шляпе, размахивая руками и издавая нечленораздельные вопли.

Он даже представить не мог, что он, магистр и доктор философии Карл-Артур Экенстедт, с грохотом захлопнет за собой мирную белую калитку и разразится диким хохотом.

– Вы когда-нибудь видели что-то подобное? – начали перешептываться цветы на клумбах. – Это еще что за пугало?

И не только цветы – ошеломленно зашумели деревья, по газону пробежала волна возмущения, как от порыва холодного ветра. Весь сад смотрел на него с удивлением и неодобрением.

Не может быть!

Неужели это он и есть, сын очаровательной полковницы Экенстедт? Сын образованнейшей женщины во всем Вермланде? Той самой, что пишет стихи, ничуть не уступающие стихам самой фру Леннгрен? Нет-нет, не может быть... этот сумасшедший – сын полковницы? Он будто только что побывал в преисподней, насмотрелся там всяких ужасов и чудом вырвался... да вырвался ли?

Спокойный, ласковый, на редкость молодежавый адьюнкт! Тот самый, чьи проповеди приходят послушать даже из соседних хуторов – настолько они красивы и поэтичны! Неужели это он, этот молодой пастор, только что выбежал из усадьбы с красными пятнами на перекошенной от ярости физиономии?

Что? Пастор из церкви Креста Господня, где живут известные своей скромностью и тихим нравом слуги Господа нашего, выбежал из усадьбы в таком виде? Как вы можете утверждать подобную нелепицу?

Представьте, да. Это он и есть. Мало того. Он бежит на проезжую дорогу – зачем? А вот зачем: твердо решил сделать предложение руки и сердца первой же попавшейся незамужней женщине!

Да-да, это он и есть. Молодой пастор Экенстедт, получивший безупречное воспитание, всю жизнь проживший среди образованных и достойных людей. Это он надумал взять в жены, сделать другом и помощником на всю жизнь – и кого? В это невозможно поверить – первую

---

<sup>19</sup> Даларна – историческая провинция в центре Швеции, к северо-востоку от Вермланда.

попавшуюся женщину! Он что, не знает, что эта самая первая попавшаяся может оказаться известной всей округе сплетницей? Или ни на что не годной лентяйкой? Глупой, как полено, распустехой? Или шлюхой? Или, еще хуже, злобной и мстительной, как оса?

Понимает ли он, какую опасную игру затеял? Знает ли, на что идет?

Карл-Артур постоял немного у калитки. Послушал голоса сада – от дерева к дереву, от цветка к цветку.

Да, он знает, на что идет. Да, он понимает, что затеянная им игра опасна. Но он знает и другое. Этим летом он нарушил обет любви к Богу, он поддался соблазну, он полюбил мирское больше, чем Бога. Он понял, какой опасности едва избежал, понял, что девица по имени Шарлотта Лёвеншёльд едва не погубила его бессмертную душу. Еще бы чуть-чуть промедлил – и все. Бесповоротная гибель.

Но опасность не уменьшилась. И поэтому он решил возвести стену, которую она не сможет преодолеть, даже если захочет.

Нет, никогда больше – он и в самом деле вырвал ее из сердца. И открыл свое сердце Христу. Показал Спасителю, что любит Его безгранично. И не только любовь, вера его тоже не имеет границ. Поэтому он просит Иисуса выбрать ему невесту. Что лучше доказывает любовь, чем безграничное доверие?

Страшно, конечно, вручать свою судьбу кому-то постороннему, но это же не посторонний, это сам Иисус... нет, пожалуй, ничего страшного. Если это Иисус – ничего страшного.

И последнее, что он сделал, прежде чем закрыть за собой калитку, – прочитал «Отче наш». И успокоился. Даже внешне – исчезли покрывавшие лицо красные пятна, унялась дрожь, от которой время от времени неприятно постукивали зубы.

Карл-Артур двинулся в сторону деревни – куда же еще ему было идти, если он собирался встретить свою невесту? Но слаб человек – им опять овладела нерешительность. Дошел до конца забора и остановился как вкопанный.

Ничтожный, малодушный субъект, притаившийся в одном из уголков его души, ехидно напомнил: всего час назад на этом же самом месте он встретил не кого-нибудь, а глухую попрошайку Карин Юхансдоттер – в заплатанной юбке, протертом до дыр платке на плечах и с нищенской торбой за плечами. Она была замужем, но муж несколько лет назад умер, и теперь она вполне подходила на назначенную им роль первой же встреченной незамужней женщины.

А вдруг... вдруг он наткнется именно на нее?

И что? Он отверг опасения своего жалкого альтер эго – такие мысли недостойны человека, решившего вверить свою судьбу Господу. Никаких компромиссов.

Он решительно двинулся вперед.

Всего через несколько секунд он услышал за спиной стук копыт. Его обогнала двуколка, запряженная роскошным жеребцом.

В ней сидел не кто-нибудь, а один из самых могущественных горнозаводчиков края. Он владел таким количеством рудников, плавилен и кузниц, что многие сомневались: уж не богаче ли он самого Шагерстрёма?

Рядом с заводчиком сидела его дочь. Если бы коляска не обгоняла его, а ехала навстречу, Карл-Артур, согласно поставленному им же самим условию, должен был бы остановить ее и попросить руки – он же дал себе слово жениться на первой встречной.

Кто знает, чем бы кончилась эта история. Вполне мог получить кнутом по физиономии. Магнат-заводчик Арон Монссон выдавал своих дочерей за графов и баронов, а не за пасторов-практикантов. Опасная затея, но... ведь они движутся в одном направлении, значит, она никакая не встречная! Наоборот, попутчица – если можно так сказать про девушку, пронесшуюся мимо в шикарном экипаже.

И опять поднял голову засевавший у него в душе трусливый и расчетливый человечиска. Вернись домой, нашептывал он, вернись сейчас же... ты что, спятил? Чересчур уж безумное предприятие...

Но, кроме этого мелочного и примитивного обывателя, в душе его нашлось место и для обновленного, храбро избежавшего грехопадения, бесстрашного и непреклонного в служении Господу истинного праведника, и этот праведник радовался возможности доказать силу своей веры и любви к Господу. И голос его звучал в душе адьюнкта, как серебряные ангельские фанфары.

Вперед, только вперед!

Справа от дороги тянулась довольно крутая песчаная насыпь, густо поросшая молодыми сосенками, березами и черемухой. И оттуда доносилось пение. Он не мог видеть, кто поет, но голос-то был ему хорошо знаком. Дочка хозяина постоянного двора, разбитная девица, не пропускавшая ни одного мало-мальски заметного парня. И ведь совсем близко, в любой момент может выскочить перед ним на дорогу, как черт из табакерки. И что тогда делать?

Он невольно убавил шаг и пошел на цыпочках, чтобы лесная дива не услышала его шаги. Даже огляделся по сторонам, ища пути отступления, и увидел вот что.

Слева от дороги простирался большой луг. На нем мирно паслись несколько коров, а около этих милостивых коров хлопотала женщина. Ее он тоже знал – служанка арендатора, того самого, что снимал флигель в пасторской усадьбе. На голову выше его ростом, к тому же у нее трое неизвестно где нагулянных детей. Сердце сжалось и ушло в пятки... неужели ему суждено жениться на этой жуткой женщине?

Преодолел страх, прочитал про себя молитву и пошел дальше.

Певица так и не вышла из зарослей. Она продолжала выводить свои рулады, а доярка кончила доить и начала прихорашиваться. Ни та, ни другая на дороге не появились. Он слышал их и видел, но не встретил; он же не давал клятвы жениться на первой увиденной или услышанной! Он поклялся жениться на первой *встречной*, а ни ту, ни другую не *встретил*. Слышать и видеть – одно, а встретить – совсем другое.

Снова забубнил трусливый и грешный внутренний голос: теперь у него нашлись новые аргументы. А может, Господь подsunул тебе этих двух потаскушек, чтобы показать, чем может кончиться твой безумный замысел? Может, Он хотел намекнуть, что стоит отказаться от дурацкой клятвы?

Но Карл-Артур заставил этот ехидный голос замолчать, даже сказал вслух: «Молчи, несчастный!» Неужели он позволит жалкой трусости отвратить его от великого замысла? Его, вручившего свою судьбу в руки Создателя?

И наконец-то на дороге появилась женщина. Он узнал ее издали – Элин, дочь покойного арендатора Матса. Не узнать ее было нельзя – половину лица занимало огромное, малиново-красное родимое пятно.

Карл-Артур замер. Конечно, девушка безобразна донельзя, но это полбеды. Во всем приходе не было никого беднее Элин. Родители умерли, и у нее на руках остались десять маленьких детей.

Он навещал ее как-то: убогая лачуга, битком набитая оборванными, сопливыми, полуголодными детишками, и на всех на них одна Элин, старшая сестра, изо всех сил старающаяся накормить и одеть эту ораву.

На лбу выступил холодный пот. Он сжал кулаки так, что ногти впились в ладони, и пошел ей навстречу.

– Все это ради нее, – бормотал он, стараясь не замедлять шаг. – Все ради нее. Ей нужна помощь.

Он понимал, что перед ним открывается дорога мученичества и жертвенности, но отступить уже не мог. Эта бедная девушка вовсе не была ему так отвратительна, как те две шлюхи. Ничего, кроме хорошего, ему о ней слышать не доводилось.

И когда до Элин оставалось не больше двух-трех шагов, кто-то позвал ее из леса. Она встrepенулась и исчезла в зарослях. Как ее и не было.

Значит, не судьба. Словно огромный камень свалился с плеч. Даже не камень, а целый валун. Он гордо выпрямил голову, и его захлестнула двойная волна: облегчения и гордости. Он же не поступился! Он же готов был идти на пожизненную муку! Подвиг не меньшего масштаба, чем пройти по воде, как посуху. Доказать, что истинная вера может преодолеть все, в том числе и законы физики.

– Господь меня бережет, – решил Карл-Артур. – Иисус со мной, Он не хочет, чтобы я погиб.

И испытал такое блаженство, какого, возможно, никогда раньше не испытывал. Блаженство избранника.

– Скоро появится и моя суженая, та, что предназначена мне Богом. Иисус испытывал меня, а теперь увидел: мои намерения серьезны и богоугодны. Еще немного, и я ее увижу.

Он ускорил шаг и уже через несколько минут добрался до околицы. И не успел даже оглядеться, как дверь ближайшей хижины отворилась и на пороге появилась молодая девушка. Она быстро прошла через палисадник – точно такой же, как во всех других домах, – отворила калитку и пошла ему навстречу.

Она появилась так внезапно, что он остановился как вкопанный. Между ними осталось всего несколько шагов.

«Вот она! Разве я не говорил? Разве я не надеялся? Я так и знал, что она выйдет мне навстречу!»

И Карл-Артур сложил руки на груди и возблагодарил Господа за оказанную ему великую, восхитительную милость.

Та, что шла ему навстречу, была не из этих мест. Она пришла из северных приходоB Даларны и промышляла торговлей вразнос. Раньше таких называли коробейниками и коробейницами. Как и принято в Даларне, одета ярко – красное, зеленое, белое и черное. В Вермланде народные платья давно никто не носил, и она выглядела как дикая роза в зарослях невзрачных сорняков. Одежда одеждой, но и сама девушка очень красива. Вьющиеся волосы, благородные черты лица... но главное – глаза. Огромные, печальные глаза под густыми черными бровями. Такие глаза, что и лица не надо, – они даже дурнушку превратили бы в красавицу. Вдобавок очень стройна – высокая, тонкая, но не тощая, в меру широкие бедра и высокая грудь. Здоровая, сильная девушка – иначе откуда бы взялась такой осанке и такой легкости движений, когда за плечами тяжеленная сумка с товарами?

Любой бы улыбнулся от удовольствия, а Карл-Артур просто-напросто оцепенел. Ему показалось, само лето вышло ему навстречу. Теплое, пышно цветущее лето – такое лето, какое было в этом году. Если бы ему предложили нарисовать это лето в красках, он бы ни секунды не сомневался – вот оно, само идет ему навстречу.

В глубине души он понимал: любое лето полно соблазнов. Но сейчас ему не было страшно. Наоборот, Господь пожелал, чтобы он отбросил опасения и увидел прошедшее лето таким, каким оно и было – прекрасным и щедрым. Никакой опасности. И вот она, его невеста. Прекрасна, как лето. Пришла из дальнего, сурового и бедного края. Ей ничего не известно о богатстве, о мирских соблазнах, которые постепенно отучают людей ежечасно постигать, чем одарил их Создатель. Люди сердечно привязаны только к тому, что в тщете своей создали сами. И ее, выросшую в нищем краю, вовсе не остановит, что суженый намеревается прожить свою жизнь в святой бедности – не по глупой прихоти, а во имя Господа.

Нет в мире мудрости, превосходящей мудрость Создателя. Создатель увидел его отчаяние, щелкнул пальцами – и вот на тебе: навстречу идет юная красавица. А главное, трудно даже вообразить девушку, которая больше подходит на роль жены нищего сельского пастора.

Молодой пастор так увлекся собственными мыслями, что даже шагу не сделал навстречу своей избраннице.

– Ты на меня вылупился, будто с медведем повстречался, – улынулась разносчица.

И Карл-Артур засмеялся. Удивительно, на сердце стало так легко, что драматические события сегодняшнего дня показались ему не стоящей внимания мелочью.

– Нет-нет, не с медведем, а вот что...

– Тогда с лесовичкой. – Тут она уже засмеялась по-настоящему, показав ровные, сверкающие влажной белизной зубы. – Говорят, увидишь такую, и как мешком по голове жажнули. Встал, как статуя... у тебя клей, что ли, на пятках?

И хотела пройти мимо, но он ее остановил:

– Не уходи, пожалуйста. Мне надо с тобой поговорить. Давай присядем.

Она посмотрела на него с удивлением, но тут же опять улынулась – решила, что он собирается что-то у нее купить.

– Что ж мне, посреди дороги, что ли, торбу-то расхлебывать? – спросила она, внимательно на него посмотрела, и в глазах ее мелькнул огонек узнавания. – А я тебя знаю! Ты ведь пастор, или как? Я сама видела, ты в церкви проповедовал.

Карл-Артур вздохнул с облегчением – не надо долго объяснять, кто он такой и откуда взялся.

– Да... пастор, но не главный. Пастор-адьюнкт... в общем, второй пастор в приходе. Помощник проста.

– Ты же живешь в пасторской усадьбе! А я как раз туда и направилась. Приходи на кухню и хоть весь мешок покупай.

Она сделала попытку идти дальше, но он загородил ей дорогу.

– Я не собираюсь покупать твои товары, – сказал он, стараясь говорить спокойно, и почувствовал, что голос вот-вот сорвется. – Я хочу попросить тебя стать моей женой.

Ему показалось, что весь мир вокруг замер в ожидании ответа – птицы перестали петь, внезапно стих неумолчный шум леса. Наступила полная тишина. Птицы, деревья, облака в небе – все ждали, что скажет красавица.

Она пристально посмотрела – не шутит ли?

А ему показалось, что предложение ее не особенно удивило.

– Давай-ка встретимся и поговорим. Часов в десять вечера. Подумать-то мне надо. Или как? – И пошла по направлению к усадьбе той же дорогой, что он шел сюда.

Карл-Артур ее не задерживал. Он твердо знал: обязательно придет и обязательно скажет «да». Как может быть иначе, если она предназначена ему Богом?

Идти домой и заниматься работой не хотелось. Он поднялся на насыпь, зашел в самый густой подлесок, раздвинул упругие ветви и бросился на землю.

Какое счастье! Каких опасностей избежал... что за удивительный день.

Карл-Артур совершенно успокоился. Никогда не удастся Шарлотте Лёвеншёльд завлечь его в свои хитро сплетенные сети и превратить в раба мамоны. Он должен жить так, как призван Богом. Простая, бедная спутница жизни не помешает ему следовать по указанному Господом пути. Он уже мысленно видел маленький серый домик на берегу, представлял простую, здоровую жизнь без излишеств и заранее наслаждался гармонией этой жизни в полном ладу с учением Христа.

Карл-Артур лежал довольно долго, вглядываясь в волшебную игру солнечных зайчиков в густой листве, и ему казалось, что в его измученной душе зарождается новая, счастливая любовь.

## Утренний кофе

### I

Была, была женщина, которая могла бы все поправить, разъяснить, поставить на свои места. Но при одном условии: если бы захотела. Но не много ли мы требуем от той, которая год за годом тешила душу пустыми желаниями? От той, кто только и умеет мечтать и желать?

Впрочем, кто знает? Вполне может быть, мечты и желания способны изменить судьбу мира. Даже представить страшно... но если это и так, доказать невозможно. Как вы докажете, что мир изменился именно потому, что вы чего-то пожелали? Но вот что несомненно – когда человек живет пустыми желаниями, он уже над собою не властен. Мечты и желания ослабляют волю и заглушают совесть.

Весь понедельник фру Сундлер упрекала себя за неосторожно сказанные слова о Шарлотте. Подумать только: он сидел тут, в ее комнате, говорил так сладко и доверительно! Она даже и мечтать не могла о такой задушевной беседе с предметом ее грез. И сама своим дурацким вопросом вывела его из себя. Ничего хорошего не вышло: Карл-Артур прервал упоительную беседу и убежал в ярости. Да еще и крикнул, что не хочет ее больше видеть. Даже сказал – никогда. Никогда не хочу вас больше видеть.

Она злилась на себя и на весь мир. Когда ее муж, органист Сундлер, предложил пойти в церковь и немного попеть, как они обычно делали в воскресные вечера, она так резко его отшила, что он, хлопнув дверью, ушел из дому и отправился в трактир.

Что тут скажешь? Настроение окончательно упало. Она всю жизнь старалась быть безупречной и в своих глазах, и в глазах других. Она же знала, почему Сундлер на ней женился. Органист восхищался ее голосом, и возможность слушать ее пение в любой день и в любой момент пересилила все доводы. И она честно отработывала свой долг: замужество позволило ей жить в собственном доме и не работать за жалкие гроши гувернанткой по чужим людям.

Но в этот день она была просто не в состоянии петь в храме Божьем: вместо кроткого псалма наверняка получилась бы горькая, а если вдуматься, и еретическая жалоба.

Но свершилось чудо. Карл-Артур сам пришел к ней! В половине девятого вечера он постучал в ее дверь и весело, будто и не было утренней ссоры, попросил накормить его ужином. Она, разумеется, удивилась, и ее удивление не ускользнуло от его внимания – Карл-Артур пустился в объяснения: дескать, так устал сегодня, что прилег в лесу вздремнуть и проспал весь день. И обед проспал, и ужин – ужин в усадьбе подают ровно в восемь. И теперь страшно голоден. Не найдется ли у фру Сундлер куска хлеба с маслом, чтобы утолить голод?

Нет, не зря Тея Сундлер была дочерью образцовой домоправительницы Мальвины Спаак. Никто не мог бы сказать, что она плохо ведет хозяйство. Нашлись и хлеб, и масло, и пара яиц, нашлись и молоко, и даже домашняя ветчина.

Она очень обрадовалась – Карл-Артур вернулся! Мало того, как ни в чем не бывало, как настоящий старый друг, попросил о помощи. Накрыла стол и начала объяснять, как она корит себя за неловко сказанные слова о Шарлотте Лёвеншёльд. Он же не думает, что она хотела вбить клин между ним и его невестой? Как раз наоборот – она-то, Тея Сундлер, уверена: быть учителем – чудесное призвание. Но вы должны понять – мне трудно примириться с мыслью, что приход лишится такого прекрасного проповедника, как магистр Экенстедт. Каждый день молю Бога, чтобы этого не случилось, чтобы магистр остался у нас, в глуши. Вы же понимаете: здесь так мало возможностей услышать живое слово Божье!

– Что вы, что вы, фру Сундлер, если кто-то и должен просить прощения, то это я. И уж никак не должны вы огорчаться – теперь-то я знаю: вас мне послало Провидение. Это именно

оно, Провидение, вложило невинный вопрос в ваши уста. Если хотите знать, фру Сундлер, вы мне очень помогли. Более того, вы меня спасли.

И он взахлеб поведал ей все, что случилось после того, как он так драматически покинул ее дом (читателю может прийти на ум слово «театрально», но он сказал не так – он сказал «драматически»). И теперь он, Карл-Артур, настолько счастлив, настолько исполнен восхищения Господней снисходительной мудростью, что не может удержаться – ему надо с кем-то поделиться своей радостью. И он благодарит Бога, что этим кем-то оказалась именно фру Сундлер, чья мать сделала так много для их семьи.

И что должна была сделать фру Сундлер, услышав про разорванную помолвку и про новый союз, заключенный на пыльной деревенской дороге с первой попавшейся женщиной? Она должна была понять, какие опасности ждут молодого пастора. И уж конечно, должна была понять, насколько Шарлотта оскорблена и огорчена его нелепой вспышкой. Она соглашалась с его выпадами по поводу ее тщеславия и златолюбия не всерьез, а саркастически, из чистого упрямства. Шарлотта просто дразнила жениха, когда говорила, что он должен стать настоятелем собора или епископом, что она выходит за него замуж только в расчете на его карьеру. И уж само собой, могла бы разъяснить Карлу-Артуру, что его неожиданный союз с девушкой из Даларны пока еще под большим вопросом. Никаких формальных обещаний он же ей пока не давал.

Но вернемся к тому, с чего начали: если молодая женщина год за годом только и мечтает, как бы подобраться поближе к этому неотразимому юноше, как бы стать его подругой и наперсницей (ничего иного, только подругой и наперсницей), если это и есть предел ее желаний, подумайте сами: как ей набраться сил, чтобы выложить все эти трезвые и разумные доводы в такие минуты? В минуты, когда он так горячо и вдохновенно, ничего не тая, изливает перед ней душу?

Нет, и еще раз нет. Как мы можем требовать от Теи Сундлер каких-то разумных и даже просто сознательных поступков, когда ее захлестнула волна восхищения и сочувствия? Мало того, она посчитала истинным подвигом нелепое странствие пастора в поисках «первой встречной».

А может быть, мы ждали от нее попыток оправдать Шарлотту? Допустим, могла бы напомнить Карлу-Артуру, что его бывшая невеста известна своим бескорытием и готовностью помочь всем и каждому, забывая при этом о самой себе? Если ждали, то ждали напрасно.

А ведь вполне возможно, Карл-Артур был не так уж уверен в своих действиях, как хотел показать. И даже малейшее сомнение могло бы поколебать эту уверенность. Даже если бы она округлила глаза от ужаса или просто испугалась. Или всплеснула руками – ведь мог бы очнуться и отменить глупую помолвку с неизвестной девушкой из чужих краев.

Но фру Сундлер не округлила глаза и не всплеснула руками. Она, очарованная пылкостью этого неотразимого юноши, уже и сама начала думать, что порыв его – едва ли не Откровение свыше. Подумайте только: не побояться и вручить свою судьбу Богу! Вырвать любимую из сердца, отказаться от земных благ и пуститься в путь в ожидании знака Божьего!

Разве могут кого-то напугать слова восхищения? Восхищения твоей верой, твоим мужеством? Конечно нет. И Карла-Артура эти слова не испугали. Он принял их за чистую монету, и его решимость продолжать начатый путь только укрепилась.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.